МИХ. СЛОНИМСКИЙ — ЛАВРОВЫ

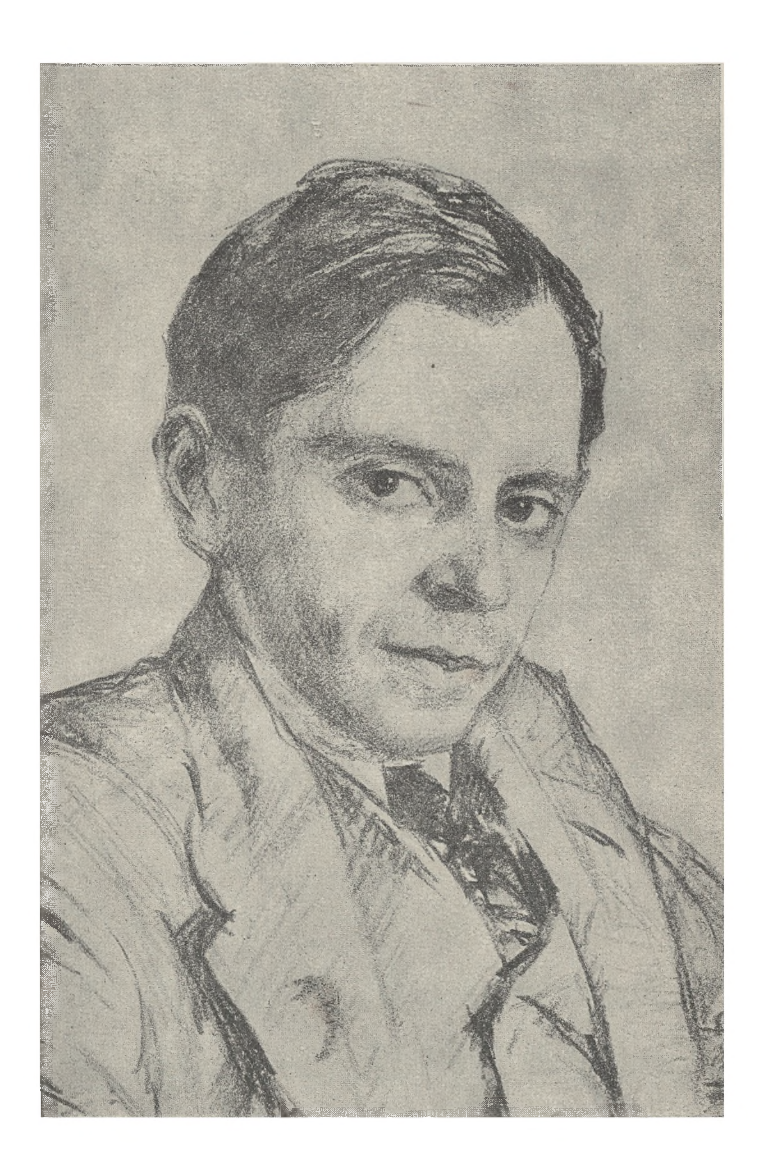


ФЕДЕРАЦИЯ 1932

Мих. Слонимский — Лавровы




ИЗДАТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИЯ
Ф



МИХ. СЛОНИМСКИЙ

ЛАВРОВЫ

РИСУНКИ
Л. ЖОЛТКЕВИЧ

ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКВА * 1932

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Второго апреля 1915 года веселая музыка духового оркестра проводила маршевую роту первого запасного пехотного полка с Охты к товарным платформам Варшавского вокзала. Там Борис простился с отцом, матерью и братом и сел в теплушку. 17 апреля Борис, шагая в ногу со своим отделением, подходил уже к местечку Красносельцы на берегу реки Оржиц. Над ним распростерлось польское небо, слева и справа ширились освобожденные от снега поля, воздух был теплый. Пыль, поднятая тяжелыми сапогами русских солдат, вставала над песчаной дорогой, оседая на лица, руки, плечи.

На красносельском фольварке за Оржицем стояли недолго. Краткая команда, — и маршевая рота двинулась дальше, туда, откуда доносились редкие выстрелы. За пять верст от позиций молоденький прапорщик тихим голосом отдал приказ: — не курить! — и солдаты, еще преувеличивавшие, так же как и прапорщик, опасности войны, побросали цыгарки и окурки.

Полк, в который назначен был Борис, занимал позиции в деревне Единорожец, в восемнадцати верстах от

Прасныша и в семи—от германской границы. Этот полк входил в состав того корпуса, который отстоял Варшаву, ринувшись в атаку прямо из вагонов только-что прибывшего на выручку эшелона. Участников варшавских боев было уже совсем мало в полку: те, что не были убиты под Варшавой, были нерасчетливо истрачены у Лодзи, подставленные под удары тяжелых макензеновских фаланг.

Борис и не думал даже об усталости или о страхе. Он был твердо уверен в том, что снаряды и пули могут убить кого угодно, только не его: ему недавно исполнилось восемнадцать лет. Он совсем не думал о том, почему и для чего делается все то, в чем он участвует, и какой смысл в том, например, что вчера в разведке он убил немца. Он удовлетворялся официальными объяснениями.

Затишье кончилось 1 июня. В этот день полк под ураганным огнем германской артиллерии оставил Единорожец и отступил на вторую линию окопов. Немцы производили усиленную разведку. Германские аэропланы кружили над русскими позициями и, высмотрев батарею, пускали сигнальные ракеты, разноцветными лентами повисавшие в воздухе. Артиллерия пристреливалась — и эта пристрелка давала много работы русским врачам, фельдшерам и санитарам. Контр-атаки русских полков 12 и 13 июня не дали никакого результата: немцы не оставили занятых позиций.

Буря, гнавшая уже русскую армию с карпатских высот, предупредила о себе еще 29 июня дальним, у Прасныша, грохотом, от которого дрожало поле. 30 июня генерал фон-Гальвиц бросил свои дивизии на окопы,

в которых сидел Борис. Русская артиллерия, быстро истратив небольшой запас снарядов, отступила утром. Пехота билась до вечера. К вечеру из пятидесяти пяти человек, составлявших до начала боя роту, в которой сражался Борис, осталось трое. Оба офицера — ротный и полуротный — были убиты. Эти трое шли по лесу. Снаряды рушили лес; стволы деревьев шатались, трещали, раскалывались и склонялись к земле; желтый дым полз, ширился и повисал в воздухе. Когда двое, оставшиеся в живых (третий был убит), вышли из лесу к пылающей деревне Вольки-Дронжи, они сочли себя в полной безопасности. Но если бы сюда перенести мирного петербуржца, еще не изучившего всех степеней опасности, он бы с ума сошел от страха.

Дым застилал небо и землю, и в этом дыму желто-красное пламя с треском рвало крыши и стены халуп. Над всем господствовал особый сумрачный цвет, которому усталые глаза придавали тысячи небывалых оттенков.

Этот день потряс Бориса так, что, казалось, все, что он знал до этого дня, ушло от него навсегда. Он свалился за красносельским мостом и сразу же заснул. А утром все прежнее, обыкновенное, вернулось к нему, а ушло из памяти то, что случилось вчера. Как раз то, что казалось незабываемым, вспомнилось теперь, как нечто постороннее, случившееся не с ним, Борисом Лавровым, а с кем-то другим.

Полк отступил к Рожанам, за Нарев. За Наревом, на остроленковском шоссе, он остановился, заняв тут позиции. Железнодорожная насыпь линии Остроленка—Малкин отделяла русские позиции от германских. Тут полк

стоял неделю, а через неделю германский штаб отнесся ко всему пространству, занятому русской армией, математически: он разбил распростертое перед ним поле на квадраты, и на каждый квадрат оказалось у него наготове тысяча снарядов. Когда математические вычисления перешли в реальное действие, тогда все, что жило, думало и надеялось на русской стороне, было либо сметено в первый же миг, либо, потеряв разум и волю, кинулось бежать по голому открытому полю туда, где низкорослый лесок готовил защиту. Лесок был в полутора верстах от позиций.

Математический расчет уничтожал людей и рвал землю. Все вокруг было достаточно ужасно для того, чтобы и самый сильный человек потерял самообладание. Однако же Бориса неожиданно посетило полное спокойствие. Сознание работало яснее, чем всегда. Разум доказывал юноше, что положение безнадежно, воля была парализована. Борису казалось, что потрясающая механика разгрома выбросила его за пределы жизни, что он уже умер и с другой планеты глядит на все, совершающееся на земле. Он увидел полкового священника, который, без шляпы, с развевающимися волосами, сидел в седле прямо, не уклоняясь от летающей вокруг смерти. Священник трепал широкой рукой гриву испуганной кобылы и громко, спокойно молился, словно уговаривая все живущее умереть, не сопротивляясь. Этого священника, которого через минуту разорвало на части вместе с лошадью, Борис часто вспоминал потом, когда он вел антирелигиозную пропаганду.

Когда Борис понял, что он не умер, что он жив и хочет спастись от смерти, он уже чуть не умер по-настоя-

щему: от страха. Он побежал к лесу по прямой линии, отбросив всякие хитрые расчеты. Он вдруг потерял уверенность в том, что он не может быть убит. Он был убежден теперь, что он непременно умрет, наверняка умрет. Только он не хотел умереть сейчас.

Но вот из грохота выделилось за его спиной гудение, единственно слышное, предназначенное специально для него, Бориса Ивановича Лаврова. Это летел снаряд, пущенный для того, чтобы убить Бориса. Борис, дернувшись в сторону, лег, а в следующее мгновение взлетел, поднятый силой взрыва на воздух, и снова брошен был наземь.

Борис знал, что в таких случаях человеку полагается терять сознание: так писалось в книжках и военных корреспонденциях. Но он не потерял сознания — и это было ужасно. Он закричал так, как кричит человек, который умирает и который ни за что не хочет умереть. Это был такой крик, который даже перешиб страх пулеметчика, гнавшего одноколку к лесу. Крик подействовал на пулеметчика рефлекторно: он ничего не успел подумать — просто остановил лошадь, кинул Бориса в одноколку, и лошадь примчала одноколку в лес. В этом была та же механика, что и в окружающем разгроме.

Пулеметчик только через час догадался, что он совершил очень благородный поступок: спас человеческую жизнь. Он подошел к Борису, лежавшему уже на шинели под деревом в ожидании санитарной двуколки. Постоял над Борисом, не зная, что сказать, и наконец промолвил:

— Это я тебя спас.

— Спасибо,— отвечал Борис.

Пулеметчик отошел, и Борис никогда больше не встречался с ним.

В лесу собрались остатки полка — командир, врач, два офицера и тридцать шесть солдат. Остальные были убиты, взяты в плен или оставлены ранеными на поле битвы.

Борис был легко ранен в левую руку (небольшой осколок засел в мякоть, не задев кости) и контужен. Санитарная двуколка доставила его в дивизионный госпиталь. Дивизионный врач отправил его в тыловой лазарет, в город Остров, той же Ломжинской губернии, что и Красносельцы. Тут Борис лежал неделю, а потом получил разрешение ходить — сначала по палате, а потом и по улицам.

II

Духовой оркестр играл за городом, в поле, разучивая марш, сочиненный самим капельмейстером. Марш был самый обыкновенный, даже просто дрянной. Но слезы были на глазах у людей, которых привлекала сюда музыка.

Борис тоже слушал музыку. И этот маленький пыльный городок, населенный поляками и евреями и загруженный теперь военными обозами, вдруг показался ему замечательным. И вообще все вокруг, и сам он — показались ему необыкновенными. До чего хорошо жить на свете! Особенно, когда ничто больше не грозит опасностью и можно, не боясь пуль, как угодно высоко держать голову.

Уже десять дней тому назад Борис написал домой письмо. Он, чтобы зря не беспокоить родных, утаил и

участие свое в боях, и рану. Он даже соврал, что назначен в тыл и находится в полной безопасности. Однако же, в самых последних фразах письма он не удержался и осторожно намекнул на то, что нарочно скрывает правду, чтоб родные не волновались. Вернувшись в госпиталь, он нашел ответ. Он нисколько не сомневался в том, что его намеки будут поняты, и уже жалел, что не довел лжи до конца. Вскрыл конверт и начал читать. Писала мать:

«Милый Борис, у тебя, я вижу, слава богу, все благополучно. Ты понимаешь, что ради матери ты не должен подвергать себя опасности. Я за тебя совершенно спокойна. Ты достаточно благоразумен. А с Юрием у меня прямо несчастье. Он хочет ехать на передовые позиции с подарками для солдат, а это гораздо опаснее, чем сидеть в окопах: так все говорят. Я тебя прошу написать ему и отговорить. Ты же знаешь его горячий характер: он обязательно полезет под пули. Хоть немного бы ему твоего благоразумия — и я была бы спокойнее...»

Письмо было длинное. Борис, не дочитав, положил его под подушку и вышел прогуляться. Ноги сами повели его к базарной площади, в цукерню, где служанка Тереза всегда давала ему, как раненному герою, даром шоколад с печеньем.

На этот раз Борис был очень разговорчив. Он рассказывал Терезе о боях, причем врал, так, как будто никогда и не был на войне и ничего о ней не знает. Тереза больше глядела на него, чем слушала. Она обдумывала что-то, а Борис все говорил и говорил.

Был уже час, когда надо было запирать цукерню. Закрыв дверь и ставни, Тереза пригласила Бориса к себе

в комнату (она жила тут же при цукерне). Комната у нее была маленькая и очень чистая. И везде, куда ни глянуть,— кисея: кисейная занавеска на окне, кисейное покрывало на кровати, и кисеей были занавешены платья на вешалке. Тереза не зажгла лампы. Она поставила на круглый столик, покрытый узорчатой скатертью, вазу с печеньями и спросила, поглядев на раненную руку Бориса, не болит ли рука.

Борис отвечал, чуть шевельнув рукой:

— Нисколько.

Тогда Тереза придвинулась ближе.

— А пан разогнуть руку может?

— Конечно, могу,— отвечал, еще не понимая, Борис и, вынув руку с перевязи, вытянул ее.— У меня рана пониже локтя, она совсем почти зажила.

Лицо Терезы очутилось совсем близко от лица Бориса. Борис понял. Он покраснел, задохнулся, напрасно стараясь притвориться опытным мужчиной. Но Тереза знала, с кем имеет дело. Когда Борис обнял ее правой здоровой рукой, она крепко прижала его к себе, твердо рассчитывая на здоровье и молодость солдата. Ее расчет оказался правильным, и, когда Борис вышел из цукерни, она уже спала — первый раз за две недели: две недели под ряд ее мучила бессонница.

Утром на перевязке фельдшер удивлялся, почему это снова стала кровоточить уже заживающая рана Бориса. Через неделю, когда Борис выписывался из госпиталя, оба — и он, и Тереза — очень искренне плакали: им жалко было расставаться друг с другом. Они никогда больше не встречались.

Еще через неделю немцы заняли Остров. Русская ар-

мия отступала с такой быстротой, словно катилась с горы. Она все жгла на своем пути: халупы, хлеб, сено. Пожары гнали жителей на восток. И только в двадцатом году русские войска снова вошли в пределы Польши. Но войсками двадцатого года двигала уже иная сила, не та, которая обрекла на гибель войска пятнадцатого года. Войска пятнадцатого года погибали. Это знал и видел каждый участник отступления.

Отступление кончилось поздней осенью. Полк, отведенный на зимний отдых в Полесье, скучал в белорусской деревне, где даже чистой воды не было: колодец был вырыт в низине, как раз там, где стекались нечистоты со всех окрестностей. Офицеры пили вино, которое ящиками возил с дальней станции заведующий офицерским собранием. Солдаты добывали пейсаховку — еврейскую водку — и спаривались с испуганными, молчаливыми белорусками. И Борис вел себя пока что так же, как все солдаты. Он ждал вызова в юнкерское училище. Но вызова не было: очередь не подошла.

Дизентерия спасла Бориса.

Несколько ночей под ряд Борис не мог заснуть. На пятую ночь пошел снег. Белым залепило окно хаты, отведенной под полковой околоток. Стало тихо и темно, как в могиле. И казалось — еще ниже осел выбеленный, но в трещинах и пятнах потолок. Дежурный фельдшер и санитар угрюмо, в полном молчании, дулись в карты. У фельдшера на груди — георгиевский крест. Лицо у него — безбородое, но немолодое, и жесткая кожа — в трещинах, как потолок. А у санитара — борода большая, широкая, лохматая, давно, должно быть, не чесаная. Фельдшер наиграл полтинник и убрал карты со

стола. Глянул на окно, на потолок, избегая смотреть в тот угол, откуда шла вонь (там лежал Борис), и ему захотелось поговорить о чем-нибудь: тоска взяла. Он порылся в своем мозгу, но ничего путного не нашел. Спросил:

— А ты коростой болел?

— Нет,— отвечал санитар. — Колтун был, а коросты не знаю.

— А у меня была короста, — сказал фельдшер,— у меня была короста два года тому назад. Я тогда работал на Почезерье.

— А у меня коросты не было,— поддержал разговор санитар.— У меня был колтун.

Они так беседовали довольно долго, пока им не стало легче: все-таки выговорились, облегчили душу. А Борис думал и не мог отогнать от себя этой мысли:

«Зачем я пошел сюда?»

Ему все вокруг казалось бессмысленной чепухой. И, проверяя свои поступки, он видел, что в них не было решительно никакого смысла. Или смысл был, но потерялся?

Борис не умер. Он выздоровел и получил отпуск на три месяца.

III

На станцию вез Бориса длинный и тощий белорусс. Сани скользили по мерзлой дороге; белый лес недвижно стыл вокруг, и небо было как пласт льда. Ночью, когда желтая луна и мириады звезд повисли над лесом, белорусс обернулся к Борису и стал длинно рассказывать то, чего он никак не мог забыть, хотя это случилось уже



двадцать лет тому назад. И рассказ этот был, казалось, такой же длинный и тощий, как и сам рассказчик. Двадцать лет назад пятилетний сын этого белорусса, играя, упал в колодец и потонул там. Вот и все. Но белорусс еще и еще повторял, как это он рубил в лесу дрова, а мать не уследила за мальчиком; и как он потом, чтобы заглушить горе, ездил в город — поглядеть на людей; и как город не помог; и как через год умерла жена; и как он после этого остался совсем один на свете. Белорусс не жаловался. Он просто рассказывал, а Борис, слушая его, думал о том, что труп мальчика так, должно-быть, и сгнил в колодце, а люди пили из этого колодца воду.

Белорусс никак не мог замолчать. Кончив рассказ, он начинал его сызнова, с новыми подробностями, спокойно и внимательно восстанавливая во всей безнадежной полноте несчастье своей жизни. Он не заметил крутого склона дороги и не уследил за лошадью. Сани заскользили вниз, и когда белорусс повернулся к лошади, натягивая вожжи, было уже поздно: сани опрокинулись.

Борис попал в яму неизвестной глубины. Он ранил руки о лед, стараясь уцепиться и удержать падающее тело. И когда он уже перестал падать, когда он полз на четвереньках по дну оврага, ему казалось, что падение все еще продолжается.

Голос белорусса послышался сверху:

— Убился?

— Нет,— отвечал Борис и, медленно карабкаясь по склону, выбрался наверх.

Белорусс выправлял сани с таким видом, как будто ничего не случилось. Лоб его был рассечен, и кровь сте-

кала к носу, но это его мало занимало. Когда Борис вновь уселся в сани, белорусс спокойно стегнул лошадь и уже не рассказывал больше о гибели своего единственного сына.

К вечеру Борис был на станции. Отсюда он должен был — по литере — ехать через Полоцк в Петербург. На станции надо было бояться коменданта. Этого коменданта боялись не только солдаты, но и офицеры: комендант находил особое удовольствие в том, чтобы посадить под арест отпускного. Тех, кто возвращался на фронт, он не трогал. Борис в ожидании поезда лежал в зале третьего класса, жуя купленную в буфете французскую булку. Рядом с ним — на полу и на лавках — валялись солдаты разных полков. Было душно и густо пахло махрой, человеческим потом и грязными портянками.

Поезд появился у платформы неожиданно. Борис вошел в вагон и столкнулся лицом к лицу с поручиком своего полка, командиром пятой роты. Борис, вытянувшись, отдал честь офицеру. Офицер взял солдата за плечо. Спиртной дух шел от него.

— Где-то видел твое лицо,— сказал он и прибавил:— Иди за мной.

— Слушаю-с,— отвечал Борис.

Офицер привел его в купе первого класса. Там сидел уже толстый человек в военной шинели с погонами статского советника.

— Это свой,— сказал офицер (было неясно, чиновник ли свой, или Борис). — Он тоже пьет.

И поставил перед Борисом бутылку коньяку.

— Пей из горлышка,— приказал он.— И без передышки все. А то убью.

Борис никогда еще не опоражнивал одним духом полную бутылку коньяку. Но офицер пьяной рукой вытянул из кобуры револьвер, и дуло зашаталось перед лицом Бориса. Статский советник, увидав револьвер, зашевелился, хотел встать, но не смог: он только жалобно пискнул.

— Наша императрица б... — сказал поручик, с наслаждением соединяя эти два несоединимые для офицера слова. И в бешенстве прибавил:— Пей, а то убью! Все равно конец.

Борис в смятении взял бутылку, поднес ко рту, опрокинул, и коньяк ожег ему горло. Ему стало тепло и хорошо. Он пил уже с удовольствием, но удовольствие это продолжалось недолго. Он опрокинул в себя полбутылки, а дальше не мог пить. Но он должен был пить и пил с ужасом, в тоске, видя, что дуло револьвера направлено ему в лицо, а коньяку в бутылке осталось еще много.

С последним глотком Борис выронил пустую бутылку из пальцев.

Это были не его, это были чужие пальцы, которые уже ничего не могли удержать. И когда Борис встал с мягкого дивана, то это не он встал, это ноги сами подняли его тело. Все действовало вне его воли: ноги, руки, голова. Он не владел собственным телом. Сознание его работало с полной ясностью, но оно работало отдельно от тела. Борис услышал словно под сурдинку или сквозь шелк сказанные слова:

— Однако, как вы побледнели...

Это испугался статский советник, испугался до того,

что сказал солдату «вы». Услышав это «вы», Борис подумал:

«Я умираю».

Борис стоял перед зеркалом, вделанным в дверь. Он видел в зеркале свое лицо. Лицо было светлозеленое. Но всего удивительнее было то, что Борис видел не только себя в зеркале, но и себя перед зеркалом. Он мог увидеть даже свой собственный затылок. Это состояние, как он потом узнал, знакомо только индийским иогам и больным истерией, а у алкоголиков предшествует белой горячке.

Он так и не узнал, каким образом очутился в купе проводник, который вывел его на площадку: наверное, офицер и чиновник не захотели, чтобы солдат умер при них,— противно все-таки. На площадке быстрого вагона проводник сунул Борису в рот два пальца. Через минуту Борис уже страдал, выгибаясь с площадки в тьму полесской ночи. Он радовался тому, что страдал: жизнь вернулась в его тело, он был жив и спасен. А потом покоряясь жалостливому проводнику, он прошел к нему в купе и там заснул. Когда он проснулся, было уже утро. Он вышел на площадку. Поезд мчался, окруженный снежными пространствами полей и лесов. Площадка вагона ходила ходуном под ногами Бориса.

В буфете полоцкого вокзала Борис, к ужасу длинноусого официанта, съел три обеда под ряд. Потом он сел в поезд на Двинск.

От Двинска до Петербурга мешал ему спать вольноопределяющийся, черный и вертлявый, с двумя георгиевскими крестами на груди. Он все приставал к Борису:

— Как вы думаете, поместят в «Огоньке» мой портрет? Два георгия и рана все-таки. А?

— Не знаю,— отвечал Борис.

— Ну, а как вы все-таки думаете?— допытывался вольноопределяющийся.

Это вечером. А ночью у него возникли другие вопросы. Он задумчиво крутил черный ус и то-и-дело обращался к Борису.

— А насчет девочек в Петрограде как, а?

— Не знаю,— отвечал Борис.

— Не знает!— усмехнулся черноусый.— Разрешите не поверить. Сами говорили, что петроградец,— значит, знаете. Такой молодой, красивый — и не знает! Нет, нельзя всех девочек для себя беречь. Нам, грешным, этот товар тоже ух как нужен! (Это «ух» черноусый произнес с большим азартом). А я — не петроградский, я туда в Павловское училище еду.

Борис невольно подумал: а если б этот черноусый уже кончил Павловское училище — небось, не так бы разговаривал, а просто выгнал бы его, солдата, из купе. Веселый вольноопределяющийся тем временем рассказывал:

— У меня насчет девочек любопытный был случай. Стояли мы на фольварке. А там девочка, полячка, ну, прямо ух какая! Душой по ней тосковал. И не подпускает никак. А был у нас этакий фельдшер, из жидочков. Он в сарае целый б . . . к устроил и девочек по окрестностям подобрал. Он прослышал, как я страдаю, и говорит: «Да, моя,—говорит,—она. Только она ух какая дорогая! Пятьдесят рублей стоит. Дайте пятьдесят рублей — ваша будет, прикажу». Уж не знаю, как и набрал

я пятьдесят рублей — последнее из сапога вытащил. Фельдшер приходит ко мне вечером и — «сегодня ночью прямо к ней в комнату идите. Она кричать будет, бороться, — да вы никакого внимания. Делайте свое дело смело. Она свои деньги получила, а бороться для интересу будет. С богом». Я так и поступил. И действительно: девочка галдеж такой подняла — пришлось в рот платок запихнуть, ей-богу! Я человек привычный, да и то еле поборол. Думал уж — плакали мои денежки. Так ей и сказал: «Зря, что ли, пятьдесят целковых на тебя ухлопал?» Ну, зато удовольствие получил что надо! Очень приятная девочка. И ведь какая упорная: плачет и не признается, что деньги за работу получила. Я фельдшера призвал — так она и перед ним отпирается. Вот лгунья-то!

— Позвольте, — заинтересовался тут Борис. — А, может-быть, вышло так, что вы просто изнасиловали? Может-быть, фельдшер вас обманул и даже не сговаривался с ней, просто себе взял деньги?

— Может-быть, — согласился черноусый. — Не знаю. Она, правда, девушкой оказалась и опыта, видно было, никакого. Не знаю. Только нет — все они такие. И цена зато дорогая — последнее из сапога вытащил. А она, сволочь, после того ревела и все ко мне приставала, как честная. Я прибил ее и здороваться даже перестал. Я вот этого терпеть не люблю, когда так удовольствие портят.

И он опять заговорил о петроградских девочках. Борису еле удалось, наконец, заснуть.

На петербургском вокзале он пошел в телефонную будку: позвонить домой, предупредить о своем приезде.

И когда он услышал вопрос матери: «Кто говорит?» — он отвечал искусственным, не своим голосом:

— Это говорит ваш сын.

Услышав это «ваш», телефонистка обернулась к нему в изумлении и строго оглядела его с ног до головы.

Уже по дороге домой Борис, вспомнив об этой телефонистке, еще раз покраснел от стыда. И тут же подумал: отчего это он сказал так неожиданно «вы»? Неужели только потому, что он был на войне? И тут же понял: нет, война тут непричем.

Трехмесячный отпуск спас Бориса от верной гибели. Полк, в котором он служил, был разгромлен в марте 1916 года у озера Нарочь, куда генерал Куропаткин согнал громаду корпусов и артиллерии для того, чтобы прорвать германский фронт. Там в первые же минуты боя была утеряна связь между частями: русская артиллерия била по своим — русские снаряды двенадцать раз под ряд выбивали русских солдат из немецких окопов, которые заняты были после первой же атаки.

IV

Дома Борис ничего нового не нашел: та же жизнь, те же характеры. Только его старший брат, служивший в Союзе городов, носил теперь солдатскую гимнастерку, военные штаны и высокие сапоги. Мать, узнав, что Борис получил трехмесячный отпуск, сразу же успокоилась:

— Ну, вот, значит, ты больше не поедешь на эту войну. Убеди Юрия, чтоб он тоже бросил об этом мысли. Почему ты тогда не написал ему? Ведь я просила. Он

поехал на фронт и еле спасся. Он попал под ураганный огонь.

Юрий уже перебивал:

— Нет, ты представь себе! Я был на второй линии окопов ночью. Необычайно красиво. Зеленые ракеты, прожектор... И солдаты мне понравились. А потом начался настоящий обстрел — из пулеметов. Пули визжали. Я целый час был в окопах. Георгиевскую медаль получил — вот.

На груди у него действительно серебрилась георгиевская медаль 4-й степени.

— А на следующий день я попал под аэроплан,— говорил Юрий.— Я стоял под деревом, и шрапнель рвалась прямо надо мной. А ты как? Ты писал, что в боях не участвовал.

И, не дожидаясь ответа, он уже рассказывал дальше о своей поездке на фронт.

Борис вымылся, надел чистое белье, лег на диван и заснул.

Он спал до обеда, когда его отец, инженер, вернулся с завода. Отец разбудил его — потряс сына за плечо и проговорил:

— Так вот как — вернулся? Это хорошо.

За обедом Юрий восхищался:

— Ужасно стало интересно жить. Все-таки война очень полезна людям — она как-то встряхивает.

И он протянул матери тарелку; мать положила ему две лучших котлеты с блюда.

— Очень интересно, — продолжал Юрий, принимаясь за котлеты. — Я обязательно еще раз пойду на фронт. Обязательно...

Мать чрезвычайно серьезно отнеслась к его словам.

— Нет,— сказала она необычно рассудительным тоном,— оставь эти разговоры. Тебе нужно кончить университет. При твоем уме и способностях ты пригодишься на большее, чем война. Для войны люди найдутся.

— Обязательно пойду,— утверждал Юрий.— Обязательно! Нехорошо оставаться дома, когда весь народ на войне.

Отец доел котлету, отодвинул тарелку, улыбнулся смущенно, отер ладонью седенькие усы и бородку и начал:

— В японскую войну, я как сейчас помню...

Мать строго перебила его:

— Ты приляг после обеда.

— Мне не хочется,— виновато отвечал отец.— Мне хочется разговаривать.

Мать перебила его еще строже:

— Тебе нечего разговаривать. Ты сам прекрасно знаешь, что тебе вредно разговаривать после обеда. Поди и ляг. У нас нет денег на докторов.

Инженер покорно встал, ласково поглядел на жену и пошел в спальную, чтобы, сняв сапоги и пиджак, лечь там на кровать и заснуть, хотя ему это решительно не хотелось. Стена с прибитым к ней патриотическим плакатом закачалась перед его глазами, расплылась в синий туман и ушла. Через минуту инженер Лавров проснулся, не помня: удержался он от крика или нет? Ему не то что приснилось, а просто так — подумалось в забытье, что он и теперь, на сорок третьем году жизни, ночует под мостом, обняв облезлую дворнягу. Потолок, пол. большая кафельная печь, стулья, стол у окна, кровать

с пружинным матрацом, периной и тремя — одна меньше другой — пуховыми подушками, — все было крепко, прочно, навсегда. Стены не шатались, на плакате огромный русский казак нанизал на пику дюжину немцев, но забытье не прошло, и Лаврову казалось еще, что все вокруг колеблется и дрожит, а проткнутые пикой немцы шевелятся. Окончательно очнувшись, Лавров понял, что перед ним стоит Борис, который, должно быть, и разбудил его скрипом двери.

Борис сказал:

— Ничего, что я тебя разбудил?

— Конечно, ничего. Ну как, ты, значит, вернулся? Это хорошо.

— Я просто так,— отвечал Борис.— Я как-то еще не успел рассказать, где я был и что со мной случилось. А со мной ужасно много случилось. Я ведь тогда в письме соврал, что меня назначили в тыл,— я сплошь был на передовой линии. Я даже ранен был и контужен. Но так легко, что отказался от эвакуации, хотя имел возможность.

Отец спустил ноги с кровати и сел. Лицо у него сразу осунулось и постарело. Он отвечал:

— Ты маму береги. Она рада, что ты жив и здоров, и хочет поскорее забыть обо всем. Как она о тебе волновалась!— ночей не спала. Она нарочно, чтоб себя успокоить, не хочет ничего знать, не расспрашивает. И думает, что и тебе спокойней забыть как можно скорей все эти ужасные впечатления. Она ужасно, ужасно нервная.

— Но я не хочу забывать,— возразил Борис.

Отец недвижно сидел на кровати. Жилет и штаны были у него такого же седенького цвета, как усы и бородка. И от него пахло шоколадом. Он улыбнулся вдруг очень доброй улыбкой.

— Ну вот, ты вернулся, значит,— сказал он.— Это хорошо. Отдохнешь зато. И больше тебе на фронт не надо.

К ночи, обняв за плечи жену и гордясь тем, что он лежит под одним одеялом с такой умной и красивой женщиной (эта гордость не проходила, несмотря на двадцать один год семейной жизни), инженер сказал:

— Боря, оказывается, был ранен. Он не рассказывал тебе?

— Борю я больше на фронт не отпущу,— отвечала жена.— Он уедет только через мой труп. А вот ты никогда не поймешь, как мне трудно. Маню надо было прогнать — это дрянь и воровка. Все вокруг воровки и проститутки. Я третий день без прислуги, а ты о чем угодно думаешь, а обо мне у тебя и мысли нету.

Действительно: прислуги не было уже третий день. Но Клара Андреевна уже дала объявление в «Новое время», и с утра следующего после приезда Бориса дня к ее квартире (жили Лавровы на Конюшенной, за несколько домов от Невского) потянулись девушки и женщины, желавшие получать пять рублей в месяц на хозяйских харчах.

Борис с интересом следил за матерью, которая вся целиком отдалась делу найма прислуги. Вот она пошла на кухню. Борис — за ней. На сундуке у двери сидела женщина в черном драповом пальто и с коричневым

платком на голове. Сундук был деревянный, выкрашенный в зеленую краску.

— Нельзя сидеть, когда барыня входит,— сказала Клара Андреевна, и прислуга встала.— Ты ведь не умеешь готовить — зачем же ты пришла?

— Я умею готовить,— удивилась женщина.

— Значит, к тебе будут ходить мужчины,— продолжала Клара Андреевна.— У меня приличный дом и я этого не потерплю.

Прислуга молчала.

Мать взглянула на Бориса.

— Выйди, тебе тут нечего делать. Это не для детей.

Борис, не желая спорить, вышел, но остановился в коридоре за дверью — послушать. Прислуга с удивлением глядела вслед этому «ребенку» в солдатской форме. Голос Клары Андреевны перешел в трагический шопот:

— Ты же беременная. Как ты смела явиться в приличный дом! У меня дети. Ты всех нас заразишь сифилисом.

Женщина отвечала добродушно:

— Сами, чай, детей вынашивали, барыня, знаете. А готовить хорошо умею.

— Пошла вон!— закричала Клара Андреевна.

Женщина постояла удивленно у сундука, потом вышла, сердито хлопнув дверью. Мать пронеслась мимо Бориса в комнаты, чуть не опрокинула только-что вернувшегося с завода мужа, крикнула ему:

— Каторжник! Хам! Вот всем расскажу, кто ты такой!

И помчалась на кухню, где снова задребезжал звонок.

К обеду прислуга была нанята. Это была уже седая женщина, тихая и напуганная.

Клара Андреевна учила ее за обедом:

— Нельзя совать соусник под нос, надо ставить вежливо. Тебе платят пять рублей и кормят — ты должна быть благодарна барыне, что тебя держат.

Юрий недовольно перебил:

— Однако, обед остынет.

Клара Андреевна поглядела на сына, на прислугу и стала раздавать жаркое: ей не хотелось сейчас затевать скандал с сыном, сначала надо было поесть.

— Ужасная прислуга,— говорила она, нарочно для сына показывая вид полного хладнокровия и рассудительности.— Я завтра же ей откажу. И наверное больна сифилисом.

Она сидела во главе стола, большая, широкая, в коричневой, расстегнутой на груди кофте — под цвет глазам и волосам. Лицо у нее было почти мужское: с резкими очертаниями носа, рта, бровей.

— Ты не имеешь права,— раздраженно отвечал Юрий, спешно изобретая предлог для продолжения скандала.— Такие события — а ты занята пустяками. Прямо противно.

Клара Андреевна никогда еще ни одного своего слова или поступка не могла счесть неправильным. Все, что она делала, было не только правильно, но и замечательно; это убеждение составляло основу ее жизни.

Она взяла вилку и, постукивая ею по столу, внушала Юрию:

— Ты не должен судить о поступках матери. Мать—

это икона. Бранить мать — это плевать самому себе в лицо.

— Началось,— отвечал Юрий, уписывая жаркое.— Пожалуйста, оставь меня в покое.

Мать отбросила вилку. Еще секунда — и скандал разразится с огромной силой. Борис, чтобы предотвратить надвигающиеся события, заполнил предгрозовую тихую минуту:

— Мама, а ты поверила моему письму, что я назначен в тыл?

Мать сразу успокоилась.

— Вот видишь,—сказала она Юрию.—Вот поучился бы у Бориса. Он действительно меня любит. Чтобы не волновать мать, он даже мне о ране не сообщил. Может-быть, и это — пустяки? Да — господи!— я бы сама рада хоть на фронт из этого ада. Вот, пожалуйста: где чай? Ведь сама не догадается, все ей надо говорить. Такая прислуга в гроб может вогнать.

И она замолчала, чувствуя, что победила сына. Но Юрий не уступал:

— Ну и пусть Боря был ранен, если хочет,— говорил он еще более нелогично, чем его мать.— Я считаю, что в тылу не меньше работы, чем в окопах. А если ты меня гонишь на войну — так хорошо! Завтра же уезжаю на фронт.

— Зачем ты так говоришь?—испугалась мать.— Так лгать нельзя. Ты прекрасно сам понимаешь, что при твоем уме и способностях ты не должен воевать.

— Но я не могу выдержать этих ежедневных скандалов,— возмутился Юрий.— Эти ежеминутные пустяки, которые отвлекают, утомляют, дергают...

— А ты не устраивай скандалов,— предложила возможно спокойнее Клара Андреевна.— Ты же первый на меня напал. А бранить мать — это все равно, что плевать себе же в лицо. За тебя платят деньги в университет, тебя кормят, одевают...

— Нет! — с пафосом воскликнул Юрий. — Я уезжаю обратно на фронт. Попрекать деньгами! Чего ты ко мне пристала?

Он выбрал из стоявших перед ним предметов тарелку и бросил ее об пол. Тарелка разбилась.

Клара Андреевна очень рассудительно сказала:

— Не надо бить тарелки. Тарелки не для этого ставятся на стол.

И обратилась к мужу:

— Я сколько раз тебе говорила, что он нервно болен! Надо повести его к доктору. Ты ни о ком, кроме себя, и думать не можешь. Только при моем спокойствии и хладнокровии можно выносить такую жизнь.

Юрий, опрокинув стул, вышел из комнаты. Хлопнул дверью. Клара Андреевна помолчала с минуту, потом обиделась на то, что вся активная роль в скандале выпала на этот раз сыну.

— Хам!— вскричала она на мужа.— Тебе бы только спать да жрать. Знала бы — никогда бы столько не страдала из-за тебя! И зачем я лучшие годы свои на тебя потеряла?!

И, бросив об пол тарелку, вилку и нож, она тоже вышла из комнаты.

Муж сконфуженно отер ладонью лицо, словно умылся, и сказал Борису:

— Вернулся значит? Это хорошо.

У него была привычка повторять ни к селу ни к городу одну и ту же фразу до тех пор, пока эта фраза не заменялась следующей.

Из спальной раздался визг Клары Андреевны и звон разбитого стекла.

«Ваза, должно-быть»,— подумал инженер Лавров, встал и пошел виноватой походкой к двери.

Сквозь визг слышалось:

— Убили! Умираю! Замучили!

Это у Клары Андреевны начиналась очередная истерика.

Все это — спор, скандал, истерика — было издавна знакомо Борису. И разъяснить кому-нибудь домашнюю жизнь он так же не сумел бы, как объяснить причины войны. Война представлялась ему тоже малопонятной истерикой, только в несколько большем масштабе, чем у Клары Андреевны.

V

Вместе с Борисом ускоренным выпуском (с обязательным условием пойти добровольцами на войну) кончили в январе пятнадцатого года гимназию еще четверо. Борис особенно дружил с одним из них — сыном члена Государственной думы. Тот незадолго до возвращения Бориса отправился на фронт артиллерийским офицером. Никого из близких товарищей не было в Петрограде: класс Бориса кончил гимназию еще прошлой весной и рассыпался — кто в окопы, а кто неизвестно куда. Все же Борис зашел в гимназию. Он явился туда не в солдатской шинели, а в штатском пальто (он по приезде сразу же сменил военную одежду на штатскую). Дирек-



тор гимназии подал ему руку и посвятил разговору с ним целых десять минут.

Борис в те дни часто посещал семью Жилкиных, своих дальних родственников: Жилкин-отец приходился двоюродным братом отцу Бориса. Жилкин и два взрослых сына хорошо знали тюрьму и ссылку. Только мать и дочь никогда не сидели в тюрьме и не были на поселении. Тут Бориса расспрашивали о войне, в особенности о настроениях солдат, очень внимательно и подробно. Младший сын Жилкина, Анатолий, тоже недавно вернулся с фронта: он был на Карпатах. За те две недели, что он провел на позициях, он, убежденный пацифист, ни разу не выстрелил. Он был легко ранен в ногу, и ему теперь предстояло вскоре вернуться на фронт. Старший сын, Григорий, помощник присяжного поверенного, служил старшим писарем в запасном полку на Охте. Дочь Надя училась на курсах. А сам Жилкин-отец разрабатывал этнографические материалы, собранные им за время ссылки. Его книжки имели хороший успех и обеспечивали семейство.

Квартиру Жилкиных всегда наполняли легальные, полулегальные и совсем нелегальные люди, наезжавшие к ним с разных концов России, а также из-за границы. За обильный обед садились всегда никак не менее пятнадцати человек. Мать, маленькая седая женщина, не участвовала в общих разговорах. Она следила только за тем, как едят гости, и настойчиво упрашивала есть больше. Разговоры и споры, начатые за обедом, продолжались обычно в кабинете Жилкина. Там — книги на полках и этажерках, и черная кожа — на диванах и на креслах.

Юрий никогда не бывал у Жилкиных. Братья редко ходили куда-нибудь вместе. Один только раз Юрий уговорил Бориса пойти на патриотический вечер в цирк Чинизелли. Юрий надел полную военную обмундировку и нацепил на грудь георгиевскую медаль. Уже на улице он спросил брата:

— А ты надел крест?

— Нет,— отвечал Борис.— А что?

— Досадно. И в штатском ты. Не понимаю.

— Я же солдат, а не офицер,— сказал Борис.— Это слишком хлопотно. Пришлось бы все время отдавать честь и спрашивать разрешения.

Цирк был битком набит людьми. Было много военных, но все же на одного военного приходилось по крайней мере десять штатских. На георгиевскую медаль Юрия штатские глядели почтительно. Когда он шел к своему месту, они уступали ему дорогу.

Началось с гимнов. Гимнов было много. Слушать их надо было стоя и после каждого гимна кричать «ура». Русский гимн заставили повторить пять раз. Юрий, которого военная одежда обязывала к особенному патриотизму, старательно кричал «ура», причем у него обнаружился неожиданно сильный бас. Когда гимны кончились, Юрий сказал Борису:

— А хорошо... Как-то электризует.

Чем дальше, тем больше гудела толпа. А к концу вечера все покинули свои места и сбились к арене. Восторг обуял людей, и уже у выхода штатские начали качать военных. Когда Борис с Юрием проходили вестибюль, вокруг них сгрудилась кучка людей. И Юрий, поднятый многими руками, взлетел на воздух под крики

«ура». Бориса отшибли в сторону. Да он и сам кулаками пробивал себе дорогу к выходу. Какой-то человек в барашковой шапке и шубе с барашковым воротником оглянулся на него. Борис продолжал нарушать общее восторженное настроение, злобно протискиваясь на улицу. Человек в барашке сказал:

— За Германию, что ли?

И двинулся за Борисом. Но Борис уже выскочил на площадь и быстро пошел к Семеновскому мосту. Только за Фонтанкой, на Литейном проспекте, он замедлил шаг. Он долго гулял по улицам, и Петроград уже спал, когда он повернул домой. Справа за железной решеткой — огромный четырехугольник Летнего сада, слева — оледеневшая Мойка. Борис перешел по плоскому мосту Лебяжий канал, пересек трамвайный путь, и снег Марсова поля заскрипел под его калошами. Он шагал, подняв воротник и сунув руки в карманы пальто. Вот уже далеко еще — не столько были видны, сколько угадывались в темноте кирпичные здания Удельного ведомства. Справа, за темной ширью огромного снежного поля, распростертого в самом центре столицы, расплывались в ночном морозном воздухе желтые пятна: это фонари Троицкого моста освещали путь через Неву. В безлунном небе было так же темно, как на земле. Редкие звезды не скрашивали темноты.

Впереди появилась фигура человека. Человек медленно подвигался навстречу Борису. Он оказался офицером. Офицер пошатывался и даже напевал что-то, но, завидев Бориса, собрал все силы для того, чтобы пройти мимо него твердой походкой. И он прошел бодро, строго оглянув штатского, уступившего ему дорогу. Ему

показалось даже, что штатский обнаруживает перед ним особую почтительность, и он вежливо козырнул ему в ответ. Борис следил за его удаляющейся фигурой до тех пор, пока ее не поглотил ночной мрак. И вот он снова один среди снежного, в центре столицы, поля. Он ускорил шаги, и вскоре дома Царицынской улицы заслонили от него простор далекой Невы. Человек в бобровой шубе шел по направлению к Павловским казармам. Навстречу ему вырвался веселый автомобиль, пустив далеко вперед два ослепляющих луча. Низенькая женщина, переходившая Конюшенную площадь, заметалась, схваченная неожиданным светом. И Борис забыл обо всем, он любил сейчас Петербург, родной город, в котором он родился и вырос. Эта любовь на миг вытеснила все остальные чувства.

Юрий отворил брату дверь: он ждал Бориса.

— Куда же ты удрал?

И, чтобы сбить с себя спесь и восстановить справедливость, заговорил:

— Удивительная история: я попал в герои, а тебя, кажется зацукали. Я же тебе говорил надеть георгия. Совсем другое получилось бы.

И он стал рассказывать о том, как его качали. Рассказывал он иронически, но видно было, что он всем этим все же очень доволен. Борис должен был признаться себе в том, что у него было бы значительно лучшее настроение, если бы качали его, а не Юрия.

Бориса вновь посетило то чувство, которое заставило его рвануться на фронт, чувство невозможности жить дальше дома, где все хотели только одного: спокойствия и согласия с тем, что происходило вокруг. Следующий

день он почти целиком провел у Жилкиных. Он напрасно звал туда брата: Юрий морщился и мотал головой, — у Жилкиных ему было скучно.

VI

Однажды утром Надя позвонила Борису по телефону:

— На обед сегодня к нам приходи. Англичанин будет. Очень интересно. Писатель и военный корреспондент. И по-русски понимает. У нас на обед бульон, кура и воздушный пирог. Приходи обязательно. Он — англичанин — знает папу. И по-русски говорит.

И Борис побежал к Жилкиным.

Англичанин явился к обеду в смокинге и в такой ослепительной манишке, что всем стало неловко. Жилкин, поздоровавшись с необыкновенным гостем, пошел в спальную и там нацепил даже круглые белые манжеты.

Присутствие англичанина обязывало всех к особо умным разговорам. Тему разговоров определил после супа сам этнограф. Волнуясь, он начал доказывать неизвестно кому, — может-быть, самому себе, — что будет лучше, если Россия победит Германию, а не Германия Россию.

Григорий сразу же стал спорить, пренебрегая молчаливым, все внимательно слушающим англичанином. Григорий считал, что военные заводы должны прекратить работу. Надо как можно скорее вызвать катастрофу. Нельзя сомневаться в том, что немецкие рабочие присоединятся к русским. Жилкин улыбался так, как улыбается добрый, все знающий человек, вполне уверенный в том, что поспешность и неосторожность ничего, кроме гибели, не принесут.

Один из гостей, известный всем под именем Фомы Клешнева, пять дней тому назада поселившийся у Жилкиных, сдержанно вступил в разговор:

— Германские рабочие могут и не присоединиться.

— Вот видишь, — обрадовался этнограф. — Товарищ Клешнев вполне согласен со мной.

Он бы не спорил с сыном, если бы не англичанин. Англичанин смущал его. Он молча ел, аккуратно работая ножом и вилкой, и своим поведением принуждал всех остальных к той же аккуратности в еде. Когда подана была кура, никто не решился есть ее, как обычно, руками. И не только к аккуратности в еде, но и к аккуратности в суждениях принуждал англичанин.

Клешнев возразил Жилкину:

— Я с вами не согласен. Но я против романтических иллюзий.

Этнограф покраснел, поправил галстук и, забывшись, взял лежавшее у него на тарелке крылышко в руки. Взглянул на англичанина, и лицо у него так налилось кровью, что страшно стало. Он положил крылышко обратно на тарелку, вытер жирные пальцы о скатерть вместо салфетки и окончательно смутился. Он заговорил, подняв слегка — как бы в недоумении — широкие мягкие плечи и помахивая левой рукой не в такт речи (при этом манжета сползала у него к пальцам, долезая до второго сустава):

— Я, конечно, не стану петь «боже, царя храни». Я не патриот и не националист. Я не люблю правоверных националистов, которые...

И он замолк, мигая добродушными глазами в полном недоумении: англичанин, отложив нож и вилку, вдруг

встал, вытянувшись, как на параде. Неожиданно для всех, но не для самого себя (это был обдуманный поступок), он хриплым нестерпимым голосом запел английский гимн. Высокий, прямой, с неподвижным, не меняющим выражения лицом, он пел громко и фальшиво, словно желая своим пением научить всех уважать национальные чувства. Он не замолк до тех пор, пока не допел гимна до конца. Он был совершенно спокоен и совершенно непреклонен. Потом он сел, взял вилку и ножик и принялся за куру с таким хладнокровием, как будто ничего не случилось.

Этнограф продолжал растерянно мигать глазами, обдумывая: как отнестись к этому дурацкому поступку англичанина? Да и все остальные были сконфужены и чувствовали себя даже в чем-то виноватыми. Было похоже на то, что англичанин дал оплеуху всей их жизни, всем разговорам, а у них нехватает смелости, силы дать сдачи.

Фома Клешнев обратился к гостю и заговорил по-английски, словно желая похвастаться знанием этого недавно изученного им языка. Никто (в том числе и Борис) ничего не понял из разговора Клешнева и англичанина. Если бы они говорили по-французски или по-немецки, тогда бы поняли почти все. Английского же языка никто не знал. Но все видели, что в лице, интонациях и жестах Фомы Клешнева была та же сила убеждения, которая заставила англичанина в самой неподходящей обстановке фальшивым голосом спеть национальный гимн.

Вскоре после обеда англичанин ушел. Этнограф по-

шел провожать его в прихожую. Надев шубу и цилиндр, английский журналист взял трость и сказал:

— Мистер Клошнев — опасный человек. Надо с такими людьми бороться.

Этнограф, взволнованный событиями, продолжал спор и в кабинете, куда все пришли после обеда.

Он настаивал на осторожности и постепенности. Вправляя непослушную, выскакивающую из рукава манжету, он говорил:

— Это будет развал — и больше ничего. Я вам это докажу. Ведь кто пойдет за вами? Вас — кучка людей, и ваши мысли и чувства, теоретически совершенно, может быть, и правильные, идут в стороне от общей жизни. Никто вас не знает, да и пролетариат не подготовлен к захвату власти. Ну, вот спросите, кто слышал хоть что-нибудь о Ленине. Да кроме профессиональных революционеров — никто! А много ли таких, особенно теперь?

И он обратился к Борису:

— Ну, вот ты знаешь, кто такой Ленин?

— Нет, — с полной честностью отвечал Борис.

— Знают, может-быть, Плеханова,—продолжал Жилкин.— Вполне понятно: он — основоположник русского марксизма. Плеханова знает вся интеллигенция. Его и Боря, наверное, знает.

— Нет, не знаю,— отвечал Борис с подкупающей откровенностью.

Жилкин заулыбался, развел руками. и левая манжета совсем закрыла ему пальцы.

— Ну, это уже стыдно,— сказал он.— Это уже необразованность.

Фома Клешнев усмехался.

— Это ничего, что не знают. Это дело маленькое. Это менее всего важно. Важно ударить во-время. Что ж мне вам разъяснять? Вы сейчас не с нами, но вы сами прекрасно знаете нашу партию. А говорите как будто нарочно, как будто ничего не знаете, как будто все дело в интеллигенции.

Жилкин покраснел: он не выносил пренебрежительного отношения к интеллигенции. Он заговорил, волнуясь:

— Хорошо. А если, например, вам все удастся, а я не присоединюсь? Вы тогда погоните меня в тюрьму за все то, что я сделал для вас и для революции?

— Нет,— усмехался Фома Клешнев.— Зачем же так ставить вопрос? Мы постараемся, чтобы вы, и такие люди как вы, получили возможность работать наилучшим образом. А лично я, конечно, не забыл бы той помощи, которую вы оказываете мне. Я не пророк, предсказывать не умею, но думаю, что вы поспорили бы, поспорили, да и присоединились бы к нам. Ну, а если бы активно выступили против нас — тогда уж не знаю, тогда уж другое дело. Но об этом рано говорить. Вот мне, например, не позже завтрашнего утра надо удирать отсюда. Я тут сделал, что нужно. А попадаться мне теперь совсем не хочется. Хотя я уж почти легален.

И он замолчал, откинувшись на спинку стула. Он совсем не имел вида загнанного человека. Плотный, широкоплечий, отнюдь не истощенный, очень чисто и аккуратно одетый, с гладко выбритым лицом, он мог бы прекрасно сойти за адвоката, врача или даже коммерсанта.

Он обратился к Борису:

— А вы недавно с фронта, Борис...

— Иванович Лавров, — подсказал Борис.

— Лавров? Знакомая фамилия,— сказал Клешнев.— Я знал инженера Лаврова. Хотя Лавровых много.

— Мой отец — инженер,— сказал Борис.

— Да, но должно-быть, не тот. Лавровых ведь много.

Борис, поздно вечером уходя от Жилкиных, считал, что знает уже, кем он хочет стать. Он хочет стать вот таким человеком, как англичанин или Фома Клешнев, человеком, который твердо убежден в чем-то и нигде, ни при каких обстоятельствах не уступит этого убеждения. Как, должно-быть, приятно было англичанину спеть английский гимн именно потому, что никто из присутствующих не мог и не хотел согласиться с ним! Это— характер. И характер, который подчиняет окружающих и не покоряется тому, с чем он не согласен. Вот именно такой сильный характер надо иметь человеку — иначе жизнь скучна и не нужна. Надо быть мастером жизни и уметь пользоваться ею и строить ее по-своему.

И Борису, как тогда, в Острове, под музыку духового оркестра, показалось, что все вокруг замечательно интересно и полно движения. Он провожал домой Таню, надину подругу. И Таня, которую он вел под руку, стала вдруг для него уже не та давно знакомая девушка, к лицу которой он так привык у Жилкиных. Он неожиданно предложил ей:

— Пройдемтесь по набережной. Замечательно хорошо.

— Но мне завтра утром...

— Пустяки,— перебил Борис.— Пройдемтесь!

Через час, стоя у гранитной ограды над неподвижной белой Невой, Борис говорил:

— Я вас давно люблю. Но сегодня я почувствовал это с особой силой. Я не хочу возвращаться домой, не услышав от вас ответа. Вы должны мне сейчас же немедленно сказать: любите ли вы меня?

Таня сначала удивилась всем этим неожиданным словам, потом со всей честностью, на какую только способна первокурсница, поверила им. Она пыталась увильнуть от определенного ответа. Наконец, сказала:

— Простите меня, Боря! Я в вас совсем не влюблена. Вы мне даже лицом не нравитесь.

И она густо покраснела, испугавшись откровенности.

— Вы не сердитесь на меня?

Это было совершенной неожиданностью для Бориса. Он был вполне уверен в утвердительном ответе и даже проектировал не спать до утра: ведь Таня — незаметная, скромная, тихая курсистка, она должна на все согласиться, — и вдруг такой ответ. Борис подумал: как бы поступил на его месте Фома Клешнев? Он усмехнулся и сказал совершенно спокойным голосом:

— Пойдемте домой. Уже поздно.

Он проводил ее до дому, разговаривая о совершенно посторонних предметах, словно ничего не случилось. Рассказал кое-что о своих фронтовых впечатлениях. Простился, даже не спросив разрешения заходить и, оставшись один на широкой пустынной улице, подумал. что все это не далось бы ему так легко, если бы он действительно любил Таню. И еще подумал, что Таня, наверное, была очень довольна тем, что он не возобновлял разговора о любви, и, наверное, она оттого так быстро

шла всю дорогу, что боялась этого разговора. Это было обидно.

На следующий день Борис узнал от Нади, что Таня на-днях выходит замуж за какого-то путейца.

— Она безумно влюблена в него. Да и правда: он ужасный красавец и умный.

«Ну и пусть выходит,— думал Борис,— мне какое дело?»

Сам себе он признавался в том, что оскорблен и слегка сбит с толку. Он припоминал, что перед тем, как объясниться в любви Тане, он сам себе показался замечательно красивым, умным и интересным. В тот миг он был твердо убежден в том, что ему, георгиевскому кавалеру и герою фронта, не может быть ни в чем отказа. И он уже ненавидел Таню и ее путейца за то. что в тот миг он был дураком.

VII

Трехмесячный отпуск Бориса кончился. Он снова надел солдатский костюм. Но уже он не хотел на фронт. Григорий Жилкин устроил ему назначение в свой полк, в четвертую роту, а оттуда отозвал его к себе в полковую канцелярию. Борис на этот раз ни одного дня не был в строю. А если бы он попал в одиннадцатую роту, роту волноопределяющихся, ничто не спасло бы его от офицерского чина и отправки на фронт. Обязанностью Бориса стало раскладывать полковую корреспонденцию по конвертам, надписывать адреса и отмечать рассылаемые бумаги в разносной книге. Разносную книгу брал дежурный писарь и посылал на почту.

Пухленький экспедитор, бывший служащий сбере-

гательной кассы, проверял Бориса и пугал его, рассказывая страшные истории о том, что получается, если вложить бумагу не в тот конверт. Однажды, еще в начале войны, это случилось с экспедитором: он заслал бумагу, вместо того, чтобы в Брянск, в Уфу. Адъютант, когда бумага вернулась обратно, призвал экспедитора к себе в кабинет и кричал так, что и теперь, когда экспедитор рассказывал Борису об этом событии, у него при одном воспоминании дрожали живот и ноги. Вот что может случиться, если не по тому адресу направить бумагу!

Борис являлся на службу к половине девятого, садился в самый угол стола, к окну, и принимался за работу. К девяти часам канцелярия была уже полна. За всеми столами гнули спины писаря с нашивками и без нашивок. За отдельным столиком, у двери в кабинет адъютанта, сидел старший писарь Григорий Жилкин, социалист. Адъютант являлся в одиннадцатом часу. Когда его толстая фигура появлялась в дверях, писарь, первый увидевший его, кричал:

— Встать, смирно!

И все вскакивали со своих мест, оправляя гимнастерки и вытягивая руки по швам. Адъютант до войны служил земским начальником и был привычен к знакам верноподданничества. Он говорил грудным, готовым при случае загрохотать, голосом:

— Здорово, писаря!

На что все с восторгом отвечали:

— Здражлавашвсокродь!

И, возбужденные собственным криком, радостно глядели друг на друга: на миг они убеждались в том, что

они живые люди. Потом они снова сгибались над столами.

Адъютант скрывался в кабинете и звонками вызывал туда то старшего писаря, то дежурного. В половине пятого Григорий Жилкин, социалист, шел к нему с докладом. В шесть часов канцелярия пустела — писаря расходились по домам. Оставался только дежурный писарь.

Иногда проходил через канцелярию командир полка. Он был совсем не страшен — ласковый, сконфуженно улыбающийся старичок. Он махал руками («сидите! сидите!») еще до того, как кто-нибудь успевал крикнуть:

— Встать, смирно!

И пока писаря кричали, здороваясь с ним, он все кивал головой в разные стороны, ласково улыбался, а Григорию Жилкину подавал руку. Григорий говорил Борису, что полковой командир — тайный революционер.

Писаря боялись адъютанта гораздо больше, чем полковника. Но всех офицеров хуже был помощник адъютанта — недавно произведенный из фельдфебелей военный чиновник. У него были крупные бесцветные усы. Видно было, что волос у него в усах — жесткий и сухой. Усы торчали кустиками в разные стороны. Чиновник дергал их и ругался. С тех пор, как он получил право входа в офицерское собрание, он потерял все слова, кроме бранных, и перестал улыбаться. Он бранью поддерживал свое новое положение, добытое долгими годами подхалимства, и грубо рвал отношения со старыми приятелями-писарями.

С половины девятого до шести часов вечера Борис

сидел в канцелярии. Только в первом часу дня он на несколько минут бежал в унтер-офицерское собрание, где быстро съедал порцию шнелыклопса или сосисок.

В шесть часов он оставлял казарму. На улицах начинались новые беды. С Охты на Конюшенную надо было, в сущности, итти пешком: на трамваях солдатам было запрещено ездить. То есть разрешалось ездить: троим — на задней площадке прицепного вагона и двоим — на передней. Но всегда, в особенности в эти неслужебные часы, набивалось в трамваи гораздо больше солдатского народу. И уж тогда неизбежно ссаживали и отправляли в комендантское всех.

Борис никогда не ходил пешком: всегда садился в трамвай. И когда он высматривал, выгибаясь с площадки, ловцов из конвойной команды, когда, заметив их, соскакивал до остановки, а потом бежал за трамваем и на ходу прицеплялся к подножке,— он испытывал все ощущения человека, лишенного обычных гражданских прав. И уже он завидовал всякому штатскому, как каторжник завидует вольному человеку, и ненавидел штатских, потому что те радовались, когда комендантские повязки вышвыривали из трамвая все загружавшее вагон солдатье.

К лету Бориса перевели на стол отпусков. Тут была более ответственная работа. Теперь обязанностью Бориса было выписывать отпускные свидетельства и литеры на проезд. Перед ним лежала карта, и он, разглядывая ее, направлял солдат в разные концы России— к матерям, женам и детям. Малейшая ошибка в маршруте — и солдат, промотавшись напрасно лишние сутки или даже больше, проклянет писаря.

Начальником Бориса был тут длинный веснушатый человек в очках. Пальцы у него всегда дрожали, и он сам про себя говорил, что он ужасно нервный. Нервным он стал, по его словам, еще до войны, во время службы агентом страхового общества: ужасно нервная работа. Вскоре его перевели помощником на стол болезней, и Борис остался на столе отпусков один. Теперь уже от него зависела выдача отпусков. Пачка прошений лежала у него в ящике стола, и он должен был представлять их адъютанту на резолюцию. Он обычно просил об этом Григория, но тот однажды удивился:

— Да что ты — боишься, что ли?

И с той поры Борис сам ходил к адъютанту. Адъютант ставил резолюции, не слушая объяснений Бориса и даже не прочитывая заявлений. Фактически судьба солдат зависела от Бориса: захочет он — и заявление, поданное вчера, сегодня же вне всякой очереди и нормы получит положительную резолюцию, а захочет — и пролежит заявление месяц и даже больше. Борис соблюдал строгую очередь.

Выписав отпускные свидетельства и литеры, Борис искал офицеров для подписи. За адъютанта имели право подписывать его помощник, военный чиновник и еще один прапорщик, недавно назначенный в канцелярию. Борис предпочитал этого прапорщика. Прапорщик, высокий, очень худой и прямой, слонялся по канцелярии, плохо, должно-быть, понимая, зачем его прикомандировали сюда. Он являлся с аккуратностью простого писаря и уходил не раньше, чем пустела канцелярия. Волосы у него уже серебрились.

Прапорщик совсем не заботился о своем офицерском

престиже. Он, узнав, что Борис кончил гимназию, часто присаживался к нему для беседы и предлагал помочь в работе. Борис давал ему на подпись тетрадки пустых литер. И прапорщик сидел и подписывал за адъютанта.

Добыть подпись командира полка было гораздо труднее. За командира могли подписывать офицеры чином не ниже капитана. Разыскать их было не так легко. Борис с тетрадкой литер, пачкой отпускных свидетельств и химическим карандашом сторожил капитанов и подполковников у входа в офицерское собрание, но не успевал еще разинуть рот, как подполковник или капитан уже махал рукой:

— Нет! Пошел прочь! Убирайся, тебе говорят!

И Борис убирался в сторону, поджидая следующего. Иной раз он по несколько дней под ряд ловил так офицеров на подпись, пока не уламывал кого-нибудь. Однажды он догадался поручить это дело прапорщику. Тот немедленно согласился и добыл подписи сразу для нескольких еще не заполненных тетрадей и для целой груды пустых отпускных бланков. Прапорщик своим неофицерским поведением еще до того вызывал возмущение писарей, а теперь над ним уже насмехались чуть ли не в лицо. Прапорщик ходил по канцелярии грустный, унылый, ничего не замечающий, и однажды, присев к Борису, сознался, что военная служба чужда его поэтической душе, что он напечатал несколько стихотворений в «Новом времени» и теперь готовит к изданию книжку стихов. Вскоре он исчез, его убрали неизвестно куда.

Борис с его помощью накопил подписей по крайней мере на три месяца вперед, и теперь судьба отпусков

была всецело в его руках. Ежедневно к нему являлись солдаты разных рот, становились в очередь, и каждый спрашивал:

— Когда, господин писарь, отпуск выйдет?

И при этом солдат глядел испытующе прямо в лицо Бориса. Иные осторожно подмигивали ему, показывая из кулака кончик коричневой рублевки или даже зеленой трехрублевой бумажки. Однажды какой-то вольноопределяющийся подал Борису запечатанный конверт и сказал уверенным голосом:

— Вы потом прочтите. Не сейчас.

Однакоже Борис сразу вскрыл конверт и обнаружил в нем десять рублей с краткой просьбой об ускорении отпуска. Он так покраснел, как будто уже принял взятку, и теперь его обличили. Он бросил вольноопределяющемуся десятку и крикнул:

— Пошел вон!

Тот усмехнулся, нисколько не поверив в честность писаря, и выждал Бориса у входа на дворе, в толпе других солдат, когда Борис шел домой. Все вместе принялись в голос упрашивать Бориса принять деньги и устроить отпуска. Борис охотно выписывал бы отпуска всему полку совершенно бесплатно, но это было невозможно. Он молча прошел мимо солдат и услышал за собой сказанное вполголоса:

— Сволочь!

Его честность была в лучшем случае бесполезна, а может быть, даже вредна солдатам: она не оставляла никаких надежд на смягчение казарменной жизни. Борис, понимая это, удивлялся: до чего неправильно все вокруг, если честность оказывается вредной!

Другие писаря брали, это Борис знал. Однажды писарь со стола болезней принял при всех трешку. И когда радостно засмеялась канцелярия, он сказал с достоинством:

— Да. Вот и взял. И еще возьму. Мой отец был педель и тоже брал.

Раз в три недели приходила Борису очередь ночного дежурства. И ночью, когда он часами сидел один в дежурной комнате, ожидая телефонного звонка, он думал о том, что ничего хуже такой жизни быть не может. Даже фронт лучше. Фронтовые дни вспоминались ему отдельными эпизодами, которых он никак не мог соединить в одно целое. Целые месяцы просто вываливались у него из памяти, как будто он прожил их в бессознательном состоянии. Да и то, что он припоминал, как будто не с ним случилось, а с кем-то другим. Все то, фронтовое, было так ужасно, бессмысленно и непонятно, что никак не укладывалось в сознании. И, однакоже, это он, Борис, долгие дни сидел в окопе, не смея высунуть голову. И это он видел вблизи разрывы двенадцатидюймовых снарядов. Его ели вши. Он прошел в кольце пожаров всю Польшу. Он был ранен. И все это для того, чтобы гнуть теперь спину в полковой канцелярии, бояться адъютанта, тянуться на улице перед не нюхавшими пороха прапорщиками и отбрыкиваться от взяток.

Однажды, сидя так ночью, Борис с совершенной живостью вновь пережил приключение, после которого он получил георгиевский крест. Это было у Единорожца, в первые дни пребывания на фронте. Он был назначен в незначительную ночную разведку. Вел команду полуротный. Зеленые ракеты взлетали над вражескими око-

пами. Борис шел во весь рост, даже и не думая об опасности. Он слишком поздно заметил, что отбился от своих. А ракеты взлетали все тревожней, и вдруг ночной воздух всколыхнулся и запел. Это пение пуль шло под частый аккомпанемент выстрелов. Борис лег наземь. Товарищей не было видно вблизи. Даже слышно их не было. Воздух стих. Борис пополз вперед. Он потерял направление, заблудился и уже не знал, где друзья и где враги. Все — слух, зрение, обоняние, осязание — было напряжено у него до крайности, до того, что он почти перестал быть человеком. Чувства заменили сознание. Он полз, не соображая уже, куда ползет, потом поднялся на четвереньки и в этом совсем уже собачьем состоянии вдруг свалился в яму, должно быть, вырытую снарядами. Живое человеческое тело охнуло под ним по-русски.

— Кто это?

Борис молчал, тяжело дыша. Голос со дна ямы осведомился:

— Свой? Как ты смел на офицера упасть?

— Виноват, ваше благородие!

Для этого ответа не надо было превращаться снова в человека.

В яме скрылся полуротный, начальник разведки. Солдаты убежали, чуть началась перестрелка, а прапорщик затаился тут. Солдат и офицер вместе добрались до своих окопов. И там прапорщик рассказывал о том, чего и не было никогда,—о том, как он дополз до немецких проволочных заграждений.

— Весь взвод — трус, — закончил он. — Лавров единственный сопровождал меня.

И Борис, не старавшийся восстановить правду, получил Георгия.

Борис вспомнил вольноопределяющегося Шора, который явился на фронт со специальной целью получить крест, легкую рану и навсегда убраться в тыл. Он был глупейшим образом убит в первый же день: высунул голову из окопов днем — и ему разбило пулей череп. Санитар снял с него новые сапоги, его кошелек переправился в карман взводного, а в посмертном приказе он даже к георгиевской медали не был представлен.

А прапорщик, который вел Бориса в разведку, был убит 30 июня. Ему оторвало нижнюю челюсть, и он не сошел с ума и не потерял сознания. Борис видел, как германский солдат, из жалости, должно-быть, добил его. И уже совсем не из жалости он ринулся на Бориса. Борис выстрелил, и немец упал. Это он, Борис, убил того немца, и теперь, вспоминая об этом, не чувствовал никакого раскаяния. Он был не виноват. Он попал в эту машину, в которой всякая самая незначительная часть должна рубить и резать, и он не мог поступить иначе. Но ведь он сам полез в эту машину добровольцем! Борис дальше не думал об этом. Убитые и раненые длинной вереницей шли перед ним. История каждого из них была отдельной трагедией. Все эти трагедии разнились друг от друга — люди жили и умирали по-разному, и все же Борису казалось, что трагедии эти удивительно схожи. А все трагедии вместе составляли войну. А войной управляли и непреклонно продолжали ее такие вот люди как тот англичанин у Жилкиных.

Телефонный звонок позвал Бориса. Забывшись, Борис вместо «дежурный писарь» сказал:

— Алло!

И после этого целую минуту слушал изощреннейшую брань, которая шла из слуховой трубки. Брань закончилась фразой:

— Я надворный советник Николаев, а ты — шваль, дрянь, дерьмо, писарь!

К осени полковой командир получил чин генерал-майора и бригаду. Его место заступил начальник хозяйственной части, полковник, словно спрыгнувший с патриотического плаката, — с лихо закрученными усами и глазами, в которых раз навсегда застряло бравое выражение.

Полк был выстроен на дворе: полковник принимал командование. Гуляя по рядам, он орал что-то про родину.

Борис не расслышал, что именно.

Утром, проходя через канцелярию, новый полковник приветствовал писарей не по-обычному:

— Здорово, люди!

Это «люди» ударило Бориса как оплеуха.

Борис не раз говорил обо всем, что волновало его, с Григорием Жилкиным. Но тот ничего не мог посоветовать и ничем не мог помочь.

— Это зависит от общей системы. У нас еще нет сил опрокинуть ее. В строю и на фронте еще хуже.

— На фронте лучше, — отвечал Борис.

Григорий усмехнулся.

— Это потому, что для тебя фронт уже в прошлом.

Борис служил писарем семь месяцев — с апреля по октябрь шестнадцатого года. Он не видел ни весны ни лета — все для него сникло и потухло. А его родные

были довольны: Борис не подвергался никакой опасности, и можно было не беспокоиться о нем. Они считали, что Борис очень удачно устроился.

VIII

В одном из октябрьских номеров вечерней газеты Борис прочел о том, что член Государственной думы, отец его товарища по гимназии, вместе с ним кончившего ускоренным выпуском, состоит в военно-морской комиссии. Этого члена Государственной думы Борис знал лично и часто бывал у него на квартире. Борис отправился к нему, чтобы рассказать обо всем: о фронте и тыле. Может-быть, этому человеку, стоящему теперь у власти, полезно будет узнать правду о солдатской жизни? И еще: может-быть он поможет Борису.

Было восемь часов вечера, когда Борис позвонил у двери общественного деятеля. Член Государственной думы был дома и музицировал. Он сидел в гостиной перед роялем на круглом вращающемся стуле; на таком же стуле рядом с ним сидела его жена, и они в четыре руки разыгрывали Мендельсона.

Чистенькая горничная пустила Бориса в прихожую и постучала в дверь гостиной. Музыка прекратилась, и недовольный голос спросил:

— Кто это?

Дверь скрипнула, и член Государственной думы появился перед Борисом. Это был большого роста, плотный человек в идеально чистой пиджачной паре. Борис знал, что это не бутафорская массивность: он гимназистом не раз стискивал зубы, когда член Государственной думы жал ему руку.

Член Государственной думы не узнал Бориса. Только когда тот назвал себя, он вспомнил:

— Ага! Как же! Пожалуйста. Но Сережи нет, Сережа был тяжело ранен, а теперь поправился и снова на фронте. Я у вас вижу георгия. Это хорошо. Но почему вы до сих пор солдат, а не офицер? Вы ко мне по делу?

Он провел его в гостиную и познакомил с женой. Жена, поздоровавшись с солдатом, вышла. Член Государственной думы опустился в кресло и пригласил сесть Бориса.

Все было мягко в комнате: ковер на полу, портьеры, диван, кресла, стулья. Лицо у члена Государственной думы приняло привычно-внимательное выражение. Лицо было полное, чисто выбритое, с большим мясистым носом. Борис начал, волнуясь:

— Я пришел к вам сказать, что солдатам очень плохо.

Тут все мысли ушли от него, он подцепил налету только одну: про трамвай — и продолжал:

— Солдатам даже на трамваях не разрешают ездить.

Большое тело члена Государственной думы заколыхалось в кресле.

— То есть как это? Они виснут на всех подножках, набивают площадки, затрудняют пассажиров... Нет, нельзя! Возмутительно!

И еще несколько восклицаний и жестов, не имеющих особого значения, выскочило у члена Государственной думы уже просто по инерции. Потом он снова успокоился в своем мягком кресле. Видно было, что и сам он, и кресло, и гостиная, и жена, и горничная, — все это

держится на каком-то твердом убеждении, сдать которое для члена Государственной думы было равносильно смерти.

Борис понял уже, что пришел напрасно, что ни совета, ни помощи он тут не получит. Он продолжал с упорством в полном отчаянии:

— Если так будет дальше, то может случиться военный бунт.

Эти слова у него вырвались непроизвольно, словно он говорил спинным мозгом. И так же непроизвольно, необдуманно вылетел ряд возмущенных восклицаний члена Государственной думы:

— Родина требует жертв, а вы думаете о пустяках. Сережа лежал при смерти, он страдал ужасно, но ни на один миг не поколебался. Он думал только об одном — о том, чтобы снова пойти на позиции.

И было ясно, что и сам член Государственной думы, бросив семью и комфорт, пошел бы, не колеблясь, на фронт, если бы это потребовалось. Он бы мужественно защищал ту систему жизни, которую он считал до победоносного окончания войны неизбежной и необходимой. Он бы погиб, не сдав своих убеждений. И если он сидел сейчас в тылу, то уж действительно только потому, что считал свою деятельность тут совершенно необходимой и нужной для того же дела защиты родины от врага.

Он овладел своим волнением и заговорил сухо, но твердо и решительно:

— Я не считаю возможным говорить с вами о делах, которых вы совсем еще не понимаете. Если вам нужна

моя помощь, то я вам, как сережиному товарищу, окажу ее с удовольствием.

Он записал в блокнот полк, в котором служил Борис, сунул блокнот обратно во внутренний карман пиджака и продолжал:

— Вы интеллигентный человек, а не простой мужик. Советую вам лучше разбираться в происходящих событиях. Надо сознательнее относиться к жизни. Настроение армии нам прекрасно известно. Не все обращают внимание на такие пустяки, как запрещение ездить в трамваях. Мы живем в историческую эпоху, которая требует крайнего напряжения сил и максимального мужества. Нужно дотерпеть, довести войну до конца и только тогда подумать о реформах.

Он замолк, ожидая с нетерпением ухода Бориса. Он счел Бориса не типическим явлением, а всего лишь отдельным шкурником, избалованным барчуком. «Самострелы» и дезертиры получаются именно из такого сорта солдат. Члену Государственной думы было искренне стыдно за слова, сказанные товарищем его сына. Бунт из-за того, что в трамваях ездить запрещено! Член Государственной думы принадлежал к кадетской партии и высоко ценил роль либеральной интеллигенции в России. И вот студент, интеллигентный человек, говорит ему такие слова! Ему казалось, что и Борису уже стыдно, и он смягчил голос, говоря:

— Я понимаю, конечно. Человеку высокого интеллекта особенно тяжела солдатская служба. Вы должны быть офицером специальных войск. Не беспокойтесь — я устрою вас.

И сразу после ухода Бориса он сел за рояль, чтобы

музыкой заглушить неприятное, оскверняющее впечатление. Но музыка не успокоила его. Он знал больше, гораздо больше, чем этот мальчишка. Он знал, что положение действительно опасное. Министерская чехарда к добру не приведет. И какие дрянные люди ставятся на важнейшие посты! И какой человек вершит государственные дела! Совсем не царь, совсем не министры и уж, во всяком случае, не Государственная дума. Проклятый Распутин! А этот мальчишка в своем узком казарменном углу заметил только одно: в трамваях ездить не разрешается. Неужели солдатская служба так уж тяжела, что интеллигентного человека, который должен читать газеты, принимать живое и сознательное участие в общественной жизни, доводит до такого тупоумия, до такой узости, до такого непонимания эпохи!

Расхаживая по мягкому ковру гостиной, член Государственной думы говорил жене о катастрофическом положении России, о том, что Россия на краю гибели. Сейчас нужно крайнее напряжение сил, чтобы предотвратить катастрофу. Положительно этот мальчишка ближе к истине, чем думает сам.

Жена молча слушала и жалела мужа: он так устал за последние месяцы.

Борис, уйдя от члена Государственной думы, с удивлением думал о слове, которое выскочило у него. Откуда, когда же оно родилось? На фронте? Или в кабинете этнографа Жилкина? Или тут, в казармах и на улицах, когда испуганная рука тянется все время к козырьку, а глаз даже швейцаров и городовых принимает за офицеров? Он сам уже был недоволен этим словом: что за романтизм! Бунт неосуществим, невозможен. Да и

сам он разве способен был бы организовать бунт? Зачем же было болтать зря?

Он знал, что это слово рождают не только солдатская казарма и окопы. Но не знал, что организация восстания — это искусство, имеющее уже признанных мастеров. Он еще очень мало знал.

Несколько дней спустя вся канцелярия была взбудоражена телеграммой, которую адъютант передал для исполнения старшему писарю. Военный министр, генерал Шуваев, приказывал в этой телеграмме срочно перевести рядового четвертой роты Лаврова Бориса в шестой саперный батальон. Это член Государственной думы помог товарищу своего сына.

Григорий Жилкин, старший писарь и социалист, говорил Борису:

— Надо хлопотать, чтобы тебя оставили тут. А то ведь опять ты попадешь в строй. Я сегодня же поговорю с адъютантом.

Он очень удивился, когда Борис попросил его не хлопотать. Пожал плечами.

— Если ты хочешь опять в строй — пожалуйста.

IX

Клара Андреевна, надев пенснэ, раскладывала в кабинете мужа пасьянс. Пенснэ она надевала обычно только для пасьянса. В этот вечер Клара Андреевна была совсем спокойна и тиха, словно возвратила себе тот характер, который был у нее двадцать лет тому назад Ее муж сидел тут же, в кресле, и читал толстый технический журнал. Он отложил журнал и начал:

— Знаешь, Кларочка, со мной сегодня на заводе случилось неприятное событие...

— Да, — перебила Клара Андреевна, отвечая не на слова мужа, а на собственные мысли. — Я тоже хотела поговорить с тобою о Борисе.

Инженер Лавров совсем не о Борисе начал разговор. Он по обыкновению уступил жене.

— О Борисе?

— Борис все больше и больше дичится, — продолжала Клара Андреевна. — Я знаю, что с ним. И Борису надо запретить ходить к Жилкиным. Это ты должен с ним поговорить. Как ты мог допустить эту дружбу? Эти Жилкины — все эгоисты, думают только о себе...

— Но теперь уже поздно, — отвечал инженер Лавров. — Об этом надо было давно подумать. Это с тех пор, как он жил у них на Сиверской.

Клара Андреевна кончила пасьянс (пасьянс вышел), собрала карты и, выравнивая колоду крупными мягкими пальцами, говорила:

— И я тогда настаивала, чтоб не отправлять к ним Бориса. Десятилетнего ребенка отправлять к таким людям!

— Ему было двенадцать лет, — поправил инженер Лавров. — И ведь ты помнишь: у Юрия была оспа, ты не хотела его класть в больницу, а Борис мог бы заразиться. Со стороны Жилкиных это даже было хорошо принять Бориса. И они сами предложили, хотя наши отношения...

— Заставили принять ванну и продезинфицировать белье! — воскликнула Клара Андреевна, стасовав колоду, и начала новый пасьянс. — Не беспокойся — эти

люди в обиду себя не дадут. А что Юрий жив, это только моя заслуга. Ты уже готов был убить его в больнице. Ты разве что-нибудь понимаешь!

И снова тихо в кабинете. Переждав две минуты, инженер Лавров начал:

— А я хотел тебе рассказать о том, что случилось сегодня со мной на заводе...

— Я знаю, что с Борисом, — перебила Клара Андреевна. — Он уже в том возрасте, когда нужно разъяснить отношения мужчины и женщины.

Инженер Лавров не удержался от усмешки:

— Я думаю — он об этом прекрасно осведомлен.

Клара Андреевна строго взглянула на мужа.

— Мои дети воспитаны не так, как ты. Я боюсь, что какая-нибудь женщина, какая-нибудь Надька Жилкина, развращает Бориса. Он еще заболеет сифилисом. Ты — отец, ты должен поговорить с ним и предостеречь. Мало ли какой пустяк может погубить мальчика! Или лучше я это сделаю.

И все свое внимание она перенесла на пасьянс. Муж начал в третий раз:

— Сегодня на заводе со мной случилось неприятнейшее событие, которое чрезвычайно...

— Эти Жилкины! — перебила Клара Андреевна. — Я их не люблю за то, что они врут и притворяются. И притом хвастуны.

Это было сказано просто так, чтобы обвинить в чем-нибудь ненавистное Кларе Андреевне семейство.

Она никогда не задумывалась над причинами своих любвей и ненавистей и не разбиралась в них. Она, мо-

жет-быть, даже и не сознавала их совсем. Она искренно верила в правду своих обвинений.

— Эти Жилкины совсем собьют с толку Бориса, — продолжала она. — Посмотри, что они сделали: опять угнали его в строй. И вот одиннадцать часов вечера, а его нет. Он, значит, сегодня тоже ночует в казарме.

Инженер Лавров возразил:

— Но ведь, Кларочка, тут уж Жилкины не при чем. Это сам Борис.

— Не спорь и не ругайся! — воскликнула Клара Андреевна. — Ты вечно накидываешься на меня с упреками. Вечно бранишься и скандалишь. Хоть бы прислуги постеснялся!

Инженер Лавров смолчал.

Клара Андреевна продолжала раскладывать пасьянс. Потом заговорила:

— Вот об Юрии я не беспокоюсь. Его нету дома — значит, он у кого-нибудь из университетских товарищей. Хотя все-таки странно: уже одиннадцать часов. Вот заметь, что Юрий с Жилкиными не в дружбе. Он, кажется, в этом году ни разу-то и не был у них. И все эти Жилкины какие-то тупоголовые, узкие — с ними и разговаривать-то не о чем. Они как-то совсем ничего не знают, не понимают.

Она смешала неудавшийся пасьянс и сказала мужу:

— Поди к Анисье, чтоб поставила самовар.

Инженер Лавров поднялся с кресла, но не сделал ни шагу. Он, отвернув борт пиджака, схватился левой рукой за грудь, тяжело дыша и покосившись слегка влево, словно собираясь упасть.

Клара Андреевна вскочила, всем телом почувство-

вав настоящую катастрофу. В такие минуты она становилась необычайно энергична: она способна была на все, чтобы защитить спокойствие и жизнь.

— Что с тобой? Ваня! Ванечка! Я же тебе говорила, что надо лечить сердце.

Она усадила мужа обратно в кресло. Инженер Лавров проговорил, задыхаясь:

— Вот и на заводе... так... совсем... внезапно..

И прибавил, уже приходя в себя:

— Дело — дрянь. Машина начинает портиться.

Клара Андреевна крикнула:

— Анисья!

И когда Анисья прибежала из кухни:

— Стой тут около барина.

И побежала к телефону: немедленно вызвать доктора. Она обязательно хотела самого лучшего специалиста. Но самый лучший специалист снял телефонную трубку, чтобы никто не беспокоил его так поздно. Клара Андреевна вмиг надела шубу, шляпу, боты и собралась ехать к нему, когда муж, уже совсем оправившийся после легкого сердечного припадка, догнал ее у выхода и задержал:

— Все прошло, Кларочка! Ты не уходи.

Клара Андреевна обрадовалась так же неумеренно, как испугалась.

— Слава богу. Нет, я все-таки верю в бога. Бог не допустит такого несчастья.

И она истово перекрестилась перед висевшим в столовой, в углу, образом Николая-чудотворца.

Когда Юрий вернулся домой, самовар уже шипел на столе, а мать и отец ужинали в необыкновенно мирном



настроении. Юрий рассказывал о своем реферате, который очень понравился профессору. Мать любовно слушала его и вздохнула вдруг: она вспомнила Бориса. Ей жалко стало младшего сына. Он сейчас в казарме, а там, наверное, спать не так удобно, как дома. Она с удовольствием глядела на Юрия: какой он красивый! Овал розового лица; русые подстриженные ежиком волосы, русая бородка и очаровательные голубые глаза. И опять она вспомнила Бориса. Она хотела сейчас, чтобы каждая минута жизни ее детей проходила у нее на глазах, чтоб не надо было беспокоиться о них и волноваться. Но это было невозможно, и она успокаивала себя горячим чаем (пила она из огромной, емкостью в два полных стакана, белой фарфоровой чашки) и мягкой кейзеркой.

К ночи инженер Лавров, стягивая пиджак, жилет, брюки, — все, что облекало его стареющее тело, — досказал наконец жене:

— Сегодня на заводе, когда со мной случилось то же самое, я пошатнулся, и никто из рабочих даже не помог мне. Только мастер поддержал под-руку и вывел из мастерской.

— Ужасно! — воскликнула Клара Андреевна. —Это благодарность за то, что ты страдал за них в институте! Вот видишь, как я всегда права! Они думают о себе больше, чем мы!

— Ну-ну, — успокаивал ее инженер Лавров. — Это уж ты слишком.

— Нет, не ну, — возразила Клара Андреевна. — Надо быть негодяем, чтобы не помочь больному человеку.

— А, может-быть, мне показалось, — продолжал инженер Лавров. И восстанавливая в памяти ощущение, которое он испытывал на заводе, он прибавил: — Конечно, показалось. Когда я пошатнулся, я подумал, что вот теперь, в беде, и обнаружится, до чего я в сущности чужой им человек. Ну, как офицер среди солдат. А тут мастер меня и поддержал. Если бы не мастер, то и рабочие, наверно, помогли бы.

— Конечно, помогли бы, — успокоенно подтвердила Клара Андреевна. Она не могла понять ощущения, которое испытал на заводе ее муж. Она знала только ту жизнь, которую вела сама.

Устраиваясь рядом с женой, инженер Лавров вздохнул тяжело: жизнь уже кончается. И все годы со дня свадьбы до сегодняшнего дня показались ему вдруг пустыми, как-будто его жизнь кончилась двадцати двух лет.

Да. Дело — дрянь. Жизнь прожита зря, а перестраивать ее поздно. Ему даже жутко стало, когда он подумал, что надо продолжать дальше такую жизнь. И как он стар для своих лет!

Клара Андреевна не думала о будущем: она была слишком уверена в нем. Она боялась только за мужа и за детей. И, повернувшись к мужу, она ласково сказала ему:

— Мы завтра же поедем к специалисту. Этого запускать нельзя.

X

Борис явился в казармы шестого саперного батальона утром. Батальон занимал казармы на Кирочной ули-

це: в доме против Воскресенского проспекта (на углу Знаменской улицы) и еще рядом с частью Преображенского полка. Борис был назначен в Знаменскую казарму, в восьмую роту, в которой огромное большинство составляли вольноопределяющиеся, кандидаты в школу прапорщиков. Восьмых рот в батальоне было, собственно, четыре: «а», «б», «в» и «г». Каждая рота имела своего ротного и полуротного, а командиром всех четырех рот был капитан Микитов, которого солдаты видали только в дни выдачи жалованья: капитан ведал хозяйственными делами роты и жалованье выдавал сам.

Восьмая рота «г» помещалась в третьем этаже большого дома, выкрашенного в серый дымчатый цвет. Помещение роты состояло из пяти комнат, — не считая прихожей и уборных. В четырех больших комнатах повзводно жили солдаты. Деревянные нары были построены тут в два этажа. Длинный коридор вел из прихожей вправо, мимо уборных, в пятую комнату — канцелярию. Тут стояли стол, два стула и кровать. Это было жилище фельдфебеля и ротного писаря. Писарь сидел тут только днем, ночевал он дома.

Фельдфебель с университетским значком на груди определил Бориса в третий взвод. У фельдфебеля — необыкновенно уродливое и грубое, словно из дерева скроенное лицо. Он низкого роста и широкий. Глядя на него, кажется, что голос его должен грохотать басом, а речь — состоять исключительно из бранных слов. Но у него сладчайший тенор, а речь — такая же кроткая и мягкая, как его характер. Неизвестно, какой дальний предок наделил фельдфебеля таким лицом и скрыл за ним от людей истинный характер этого превосходного

человека. Зато взводный был и наружностью и характером одинаков: совсем простое, обыкновенное лицо и совсем простой, обыкновенный характер. И не хитрый характер: очень прямой и откровенный. Взводный строго исполнял службу, а когда служба переставала нравиться ему (это случалось каждый раз, когда он получал письмо из деревни или просто вспоминал о родных местах), он с совершенной откровенностью бранил войну.

Долгая служба на фронте и георгиевский крест не спасли Бориса от обычных казарменных правил. Взводный в первый же день проверил его: заставил ходить мимо себя взад и вперед и на ходу отдавать честь, как офицеру, а также становиться во фронт, как перед генералом. Он нашел манеру Бориса слишком вольной для Петербурга и побоялся пускать его на улицу, прежде чем Борис не приобретет полной четкости в движениях рук и ног и в повороте головы.

Так Борис остался на неопределенное время без увольнительных записок.

Он получил место на нарах внизу. Казарменная жизнь была знакома ему: он привык к ней еще в первом запасном полку до отправки на фронт. С той поры, казалось ему, прошло не полтора года, а по крайней мере десять лет — столько за это время случилось всякого.

К ночи казарма стихла. Саперы располагались на ночь на нарах. Было душно, дымно и пахло знакомым запахом потных портянок. Борис, как все, стянул сапоги, расстегнул пояс, снял гимнастерку и штаны, сложил все аккуратно и лег на жесткие нары, укрывшись с головой шинелью. Он никак не мог заснуть, слыша шопот

сверху. О чем шептались на верхних нарах — он не мог разобрать. Но вот голос снизу крикнул:

— Молчите, сволочи!

И шопот стих. Дежурный по роте потушил электричество. Надо было спать. Борис ожидал бессонницы и уже собрался повернуться с правого бока на левый, когда сон захватил его врасплох.

В шесть часов утра дневальный по приказанию дежурного солдата разбудил саперов криками и пинками. Большинство вставало сразу, не заставляя себя упрашивать. Иные (в том числе и Борис) остались еще понежиться на жестких нарах. Через пять минут дневальный влетел с криком:

— Дежурный офицер!

Дежурный офицер — это слишком страшно. Борис моментально вскочил, напяливая штаны, сапоги, гимнастерку. Он удивлялся, почему это медлят ленивцы: он один из всех валявшихся на нарах так быстро снялся с места. Дежурный офицер не пришел. И по шуткам солдат Борис понял, что дежурного офицера нигде вблизи и не показывалось, — просто каждый дневальный считал своим долгом так испугать и обмануть своих товарищей.

После чаю, в половине восьмого, снова крик дневального:

— А ну вылетай на занятию-у-у!

Саперы, затягивая потуже пояса, подходили к стоявшим у стены козлам и разбирали винтовки. Борис тоже взял винтовку, выданную ему еще вчера. Потом все — гурьбой — поперли к выходу. Выходов было два: на улицу и во двор. По парадной лестнице солдатам запре-

щено было ходить, и они сошли по черной лестнице во двор.

Мороз согнал сон с лица Бориса и взбодрил его. Хотелось скорее начать двигаться. Переминаясь с ноги на ногу, он ждал, когда выстроятся и уйдут со двора первые два взвода. Вот их уже вывели на улицу, и очистилось место для взвода, в котором служил Борис.

— На первый — второй рассчитайсь! Ряды вздвой! Нале-во! На пле-чо! Шагом марш!

И саперы двинулись к воротам.

— Левым плечом вперед — шагом марш!

И саперы вышли на Кирочную улицу. Взводный повел их к Воскресенскому проспекту на Сергиевскую, где происходило ежедневно учение. Там, на всегда тихой и пустынной улице, саперы проделывали все упражнения, необходимые для того, чтобы победить Германию. Редкие прохожие останавливались и с любопытством глядели на подготовку солдат к войне.

Один взвод сплошь состоял из студентов, и командир этого взвода был тоже студент. И прохожие с удивлением слушали необычную команду:

— Коллега правофланговый, подравняйтесь чище! В ногу, товарищи! В ногу!

Но вот показался из-за угла Воскресенского проспекта полуротный командир, прапорщик Стремин, и командир студенческого взвода забыл о товариществе. «Коллеги» исчезли и заменились солдатами, которых надо было так вышколить, чтобы они пошли на смерть не только с охотой, но и с удовольствием.

— Рота, смирно! Равнение напра-во!

Прапорщик медленно двигался по панели. Он был небольшого роста, широкогрудый, с короткими ногами, плотный, сбитый из костей и мускулов. Подойдя к роте, он рявкнул таким сильным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его квадратной фигуры:

— Здорово, саперы!

На что последовал немедленный ответ:

— Здражлавашвсокродь!

У саперов, как и у гвардейцев, каждый офицер батальона был «высокоблагородием». «Благородиями» можно было называть только младших офицеров других полков. Пока из груди Бориса шел дикий крик, сливаясь с многоголосым ревом роты, в голове у него мелькнула и, не успев оформиться, исчезла мысль: кому только он не кричал приветствий! Он кричал как пехотинец, как писарь, теперь — сапер. Тишина настала так же мгновенно, как возник и ударился о стены домов приветственный клич солдат. Прапорщик оглядел выстроенную перед ним повзводно роту. Он останавливал внимательный взгляд то на том, то на другом солдате, дифференцируя в уме роту и вновь собирая ее в одно целое. Это был редкий офицер: он, как истинный мастер, испытывал наслаждение при виде чисто проделанного упражнения или стройных линий одинаково одетых людей. Его во всякую мелочь вникающий взгляд, проходя по рядам, подтягивал роту, напрягал мышцы солдат. Тихо стало так, что даже какой-то прохожий с портфелем подмышкой на всякий случай остановился. А дворник вышел из ворот на эту тишину, как на крик. Наконец прапорщик освободил роту от своего взгляда и сказал, поворачиваясь к солдатам спиной:

— Вольно!

И взводным:

— Продолжайте ученье!

Ученье заключалось главным образом в шагистике. Рота, выстраиваясь то по взводам, то по отделениям, печатала ногами по мерзлой мостовой от дома № 63 до дома № 83 и обратно. Затем, разделившись на взводы, солдаты по команде взводного брали винтовку на плечо, к ноге, на караул. Борису было обидно проделывать эти упражнения после стольких месяцев боевой службы. Но он был пехотинец и среди сапер оказался молодым солдатом. Когда надо было брать винтовку на изготовку, колоть воздух штыком и бить по воздуху прикладом, он подумал, что ни разу за все время пребывания на фронте он не был в штыковом бою. Всякий раз при штыковой атаке солдаты скакали в уже пустые окопы: немцы оставляли позиции, не выдерживая приближения молчаливой массы врага. Атаки немцы тоже парировались только пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем. До открытого штыкового боя дело не дошло ни разу.

Перед самым перерывом взводный скомандовал:

— На выпаде останься — коли!

Это было самое трудное упражнение. Мускулы живота напрягались до крайности, а винтовку, выдвинув левую ногу вперед и во всю длину вытянув руки, надо было держать крепко, так, чтобы она не дрожала и не шелохнулась даже тогда, когда взводный, пробуя умение и силу солдата, стукнет кулаком по дулу.

Ротный командир не явился на ученье.

В двенадцать часов рота вернулась в казармы. Саперы составили ружья в козлы и отправились строевыми командами в Преображенские казармы на обед. Обед в этот день был хороший: не селедочный суп, как обыкновенно, а щи и гречневая каша. В кашу положено было вместо масла сало.

В три часа дня рота снова вышла на ученье — до шести часов вечера. По возвращении в казармы началась выдача увольнительных записок — одним до утра, другим до восьми часов вечера. Борису, как и многим еще, увольнительная записка не полагалась.

Борис, сев на подоконник, принялся чистить винтовку: он любил это дело, оно успокаивало его. Он вынул затвор, разобрал и каждую мельчайшую часть отер тряпочкой до блеска. Он вспомнил, как он боялся в первые дни солдатской службы разряжать винтовку. Ему казалось, что винтовка, если нажать куроок, обязательно должна выстрелить, в каком бы положении ни был затвор. Взводный, подойдя, похвалил Бориса:

— Молодец! Понимаешь винтовку.

— Еще бы не понимать, господин взводный, — отвечал Борис, собирая затвор. — Чуть ли не год на фронте бился.

— Отчего не офицер? — осведомился взводный.

Борис на миг сам удивился: отчего он, действительно, до сих пор остался в солдатах? Он пожал плечами:

— На фронте очередь не подошла. Потом болезнь, отпуск.

Он не сказал, что прослужил семь месяцев писарем: ему вдруг стыдно стало.

Взводный подумал. Потом сказал:

— Вижу, что парень ты боевой. Потерпеть надо тебе еще в саперах. Экзамен при учебной команде сдашь, унтера получишь — и в школу. А то что тебе зря мотаться?

— Может-быть, заявление подать ротному, чтобы...

Борис не знал, что ему требовать от ротного, и замолк.

Взводный махнул рукой:

— Заявление! Сам знаешь — заявление в канцелярию пойдет, к писарю. Наш-то — парень свой. А поди сунься в батальонную. Сам знаешь, писаря — сволочь народ. Хорошо если за зелененькую сделают, а то бывают такие, что и совсем не берут. Те еще хуже. Дела все равно от них не жди — разве они солдатскую службу понимают? Нет, писаря солдатским горем не прошибешь!

Он долго ругал писарей, а Борис радовался, что не сказал ему о том, что и сам был писарем, да еще таким, который взяток не брал, а все делал по точным правилам, по уставу.

Взводный кончил свои излияния вздохом:

— Тяжела солдатская служба.

Ротного командира Борис увидел только через два дня на ученьи. Он появился на полчаса, постоял в сторонке и ушел. Это был длинный, сутуловатый подпоручик. Под носом у него распушены были длиннейшие усы, которые придавали его лицу вечно-удивленное выражение. Он шагал совсем не как полуротный: вялой, лишенной упругости походкой. Он, как и прапорщик, был офицером военного времени, но военной службы не любил. Зная, что он видом своим явно обнаруживает

случайность своих золотых, с одной полоской и двумя звездочками погон, он иногда пытался поднять свой офицерский престиж криком и бранью. Но и это, заставляя солдат относиться к нему враждебно, не развлекало его. Брань его была всегда беспричинна. Не то — у полуротного прапорщика. Глаз полуротного зацеплял малейшую неправильность в одежде, в движениях, в голосе солдат, и всякий всегда знал, за что кроет его этот квадратный, черноватый, с широким и плоским лицом человек.

В субботу Борис еще с утра попросил у взводного увольнительную записку до понедельника. Тот согласился.

На вечернее ученье неожиданно явился ротный командир в сопровождении фельдфебеля. Солдаты поняли, что это не спроста.

В четыре часа ротный сказал что-то вытянувшемуся перед ним фельдфебелю, и фельдфебель стал перед строем. Он вобрал воздух в легкие и, стараясь придать голосу необходимую грубость, крикнул:

— Смирно!

Он был смешон в роли командира: стол и кровать в канцелярии гораздо больше подходили ему. Он и сам это понимал, потому что, как только ротный скрылся за углом, передал команду взводному — младшему унтерофицеру Козловскому.

Голос Козловского привык к команде. Высокий, тонкий Козловский кричал визгливым, всю улицу наполнявшим, голосом слова команды. Он повел роту в Преображенские казармы на инспекторский смотр. Он понимал, что солдаты недовольны тем, что их ведут куда-

то под самый конец ученья, когда увольнительные записки зовут их домой, на гулянье. И нарочно, чуя усталость и нетерпение солдат, он скомандовал:

— Бегом маррш!

И все расстояние до Преображенских казарм заставил пробежать бегом.

Рота выстроилась на обширном дворе. Было двадцать градусов мороза, и морозный пар шел от солдат, как от табуна загнанных лошадей. Саперы переминались с ноги на ногу, терли руками уши, подбородки, щеки. Мороз и долгое ожидание доводили их до остервенения, до забвения дисциплины. Козловский, проходя по рядам, радовался, видя, как мучаются солдаты. Он говорил, кривя рот:

— Холодно? А если б еще стреляли по вас — то это как назвать? Кровь на морозе во как мерзнет!

Рота ждала полтора часа. Наконец к ней вышел командир батальона полковник Херинг. Это был небольшой, толстый человечек, слегка подпрыгивавший на ходу от желания стать выше ростом. Про его жизнь солдаты знали только то, что он женат, и что его сын обучается в кадетском корпусе. За ним шел незнакомый полковник, ради которого, как оказалось, и была вызвана рота. Солдаты так и не дознались фамилии этого офицера. Было сказано только, что этот полковник командирован штабом для инспекторского осмотра и опроса претензий.

Полковник Херинг поздоровался с саперами и уступил место незнакомому офицеру. Тот закричал неистово:

— Унтер-офицеры, ко мне! Бегом!

Саперы, отданные под власть новому и неизвестному еще человеку, трепетали. Раньше были свои привычные крикуны, повадки которых были уже детально изучены, и всякий солдат знал тот максимум наказания, который может постичь его при оплошности. А это был совсем новый человек, да еще с таким голосом, что — чорт его знает! — он, может-быть, и под суд отдаст или вот сейчас же со двора погонит всех на убой, на фронт. Рота была испугана.

Оставив унтеров в стороне, штабной полковник быстро пошел по рядам, не останавливаясь ни на секунду и повторяя почти без передышки:

— Никаких жалоб нет? Никаких жалоб нет? Никаких жалоб нет?

Дойдя до середины строя, он отошел на несколько шагов назад и крикнул:

— Го-ло-вы на на-чаль-ни-ка! Смотреть на меня!

И снова пошел по рядам. А двести голов поворачивались сообразно с его движениями, и четыреста глаз испуганно ели начальство.

Никаких жалоб ни у кого не оказалось. Саперы мечтали только об одном: чтобы благополучно пройти сквозь это испытание. Тут было не до жалоб.

Затем солдаты по очереди должны были пройти, печатая ногами, мимо полковника, стать во фронт и, если полковник не остановит и не заставит повторять, бежать к воротам, где выстраивалась рота. Полковник заметил георгиевский крест на груди Бориса. Когда тот, вытянувшись, ожидал команды: «вольно» или «отставить», полковник спросил его:

— Был в боях?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Полковник махнул рукой, и Борис прошел к воротам. Смотр кончился. Рота — на улице. Взводный, идя рядом с Борисом, говорил:

— Теперь отделение тебе дадут. Уж если заметил — дадут. Увольнительную получил? Ну, ладно. А то и забыть я мог.

Отделения Борису не дали. Когда в понедельник он вернулся из дому, он узнал, что штабной офицер остался недоволен ротой. Все взводные и отделенные были смещены. Остались только Козловский и почему-то фельдфебель. Фельдфебель сам удивлялся тому, что его не убрали.

— Теперь пойдет дело, — радовался Козловский. — Теперь цукать начнут.

Он всегда радовался всякому ухудшению: это подтверждало его твердое убеждение в том, что счастливая жизнь невозможна. Горе тому, в ком он заподозревал мысль о возможности счастья на земле! Козловский замучивал такого человека всеми способами, какие только имелись у него. А способов этих у взводного командира было немало. Жаловаться на него было бесполезно: ротный боялся унтер-офицера и слушался его во всем.

Все знали историю Козловского. Он сам не раз рассказывал ее даже с каким-то удовольствием. Его родная деревня была в Гродненской губернии. Ему привелось отступать на пятьдесят верст южнее ее. Он самовольно оставил полк, чтобы увидеть молодую жену. Он дошел до деревни и узнал там, что жена его, изнасилованная отступающими артиллеристами, покончила с собой. Он сам поджег с двух концов родную деревню и догнал

свой полк. С женой он жил всего лишь неделю — обвенчался перед самым уходом на фронт. Все это произошло в действительности, несмотря на кажущееся неправдоподобие. Но сверх этой истории Козловский рассказывал целый ряд вымышленных, диких, невероятных случаев; например, о том, как однажды по приказу ротного командира он вырезал в одной деревне всех детей до шестилетнего возраста, потому что деревню надо было сдать немцам, а немцы всех этих детей вырастили бы в злобе против русских. Вот ротный командир и решил при отступлении уничтожить будущих врагов в корне.

— Ведь воевать-то нам с немцами двадцать лет, — объяснял Козловский. — Это уж точно, с ручательством!

XI

Борис, придя в субботу домой, встретил преувеличенное внимание родных. Он помнил, что так же внимательно и любовно относились к нему только восемь лет тому назад, когда умерла его младшая сестра. Это внимание длилось тогда около месяца, а потом прошло. Клара Андреевна тотчас же рассказала ему об участившихся сердечных припадках отца и, так как до вечернего чая оставалось еще по крайней мере полчаса, решила поговорить о самом Борисе. Она увела сына в кабинет, выслала оттуда мужа и принялась искать пенснэ. Пенснэ, как всегда, вблизи не оказалось.

— Ваня, — говорила Клара Андреевна, — это опять ты! Ты вечно засунешь мое пенснэ! Юрий, кто взял пенснэ?

— Оно тут, — указал Борис: пенснэ на шелковом шнурке висело на спине Клары Андреевны.

— Вот он всегда так! — воскликнула Клара Андреевна, поймав пенснэ. Кто был этот «он» — она не сообщила.

Она надела пенснэ, как будто ей предстоял пасьянс, и состроила такое лицо, которое должно было показать Борису, что разговор будет серьезный, на очень щекотливую тему. Она начала, всем своим видом показывая, что подбирает слова и выражения с необыкновенной осторожностью:

— Ты, Боря, уже не ребенок. Ты должен знать, что детей приносит не аист.

Борис удивился такому вступлению.

— Детей аист не приносит, — строго продолжала Клара Андреевна, — дети рождаются иначе.

Она задумалась; ни одно сколько-нибудь приличное выражение не подходило для того, чтобы объяснить сыну, как это рождаются дети.

Потом она нашла, наконец, нужные слова:

— Вот, например, ты. Тебя родил не аист, а я. А для того чтобы я родила тебя, нужен был папа.

Тут Клара Андреевна покраснела, как девочка. Она встала, сняла пенснэ, бросила его за спину и сказала:

— Папа тебе все разъяснит.

— Я уже давно знаю, — сказал, наконец, Борис.

— Ты меня понял? Тем лучше. И, значит, прежде всего ты остерегаися сифилиса.

И она пошла из комнаты. Борис с удивлением глядел ей вслед. Весь разговор с матерью показался ему просто неправдоподобным. А за чаем Клара Андреевна глядела

на него с нежностью: она чувствовала, что исполнила долг матери и помогает жить сыну. Опровергнуть это убеждение — значило бы убить ее.

На следующий день сразу же после обеда Борис отправился к Жилкиным. Там снова появился Фома Клешнев. Он сейчас играл с этнографом в шахматы. Жилкин был игрок первой категории. Он играл спокойно, медленно и беспощадно. Шахматы были единственной областью, в которой Жилкин был беспощаден. Он пользовался малейшей ошибкой противника и был непреклонен в атаке так же, как тверд в защите. Клешнев волновался, злился и проигрывал. Борис, не желая прерывать партию, даже не поздоровался с Жилкиным, а ушел в дальнюю комнату — к Наде. Тут стояли кровать, письменный столик, диван, кресло, стул и еще какие-то тумбочки и табуреточки, назначения которых Борис не понимал; садиться на них он боялся — сломаются еще. По размерам все это было меньше обычного. А сама Надя — совсем не кукольная, плотная и здоровая девица с розовыми щеками и длинной русой косой. Стены комнаты украшены были фотографиями родственников и почему-то видами Неаполя.

Надя усадила Бориса на диван и заставила рассказать все, что с ним случилось за последнюю неделю. Выслушав, она промолвила:

— А я рада, что ты не писарь.

И добавила, подумав:

— Мне казалось, когда ты был солдатом, что ты политический преступник. А писарь — это вроде уголовного преступника. Это нехорошо.

Надя выросла среди людей, для которых тюрьма

и ссылка были так же обыкновенны, как у других поездка в служебную командировку или перевод с одной службы на другую. В детстве Надя говорила про себя:

— Я кончу гимназию, а потом поступлю в тюрьму.

Она и представить себе не могла, что жизнь ее обернется как-нибудь иначе. А пока она училась на курсах и подрабатывала деньги уроками. Она принципиально не хотела жить за счет отца.

Борис продолжал болтать. Он начал пересказывать ей сцену с матерью и по надиному лицу понял, что тема разговора ей не нравится. Борис оборвал фразу на середине. И только через минуту, когда Борис говорил уже совсем о другом, Надя, не удержавшись, прыснула вдруг. Борис тоже засмеялся: действительно, девятнадцатилетнему балбесу разъясняют такие вещи, как мальчику.

Жилкин у себя в кабинете уже обыграл Клешнева. Расставляя фигуры для новой партии, он говорил:

— У вас нет достаточной выдержки. Вы путаете последовательность ходов и ни одной комбинации не доводите до конца. Я уже в дебюте получаю лучшую партию.

Клешнев усмехнулся:

— Если бы вы в жизни были так тверды, как в шахматах!

— В жизни я тоже твердый человек, — сказал Жилкин, выдвигая на два поля вперед ферзевую пешку.

— В жизни вы добродушный соглашатель,—отвечал Клешнев и выдвинул на два поля вперед королевскую пешку.

— Нет, не соглашатель,—возразил Жилкин и взял ферзевой пешкой королевскую. — Разве это ход? Вы совсем не знаете дебютов.

— Я — упорный человек даже в шахматах, — сказал Клешнев, продолжая игру.

Но уже к восьмому ходу он оказался в таком тяжелом положении, что сдал партию.

— Не всякий хороший политик — хороший шахматист, — изрек Жилкин.

— Не всякий хороший шахматист — хороший политик, — отвечал Клешнев, усмехаясь.

Он уселся глубже в кресло и вынул портсигар. Вздохнул:

— Вот курить начал. На тридцать шестом году жизни начал курить. Я курил только один раз в жизни — в киевской тюрьме. Я тогда ожидал смертного приговора, а мне было двадцать три, нет, двадцать пять — сколько мне было тогда лет? Я получил каторгу вместо смерти.

Он задумался, потом спросил:

— От Анатолия есть письма?

Жилкин замигал усиленно. Глаза его сразу покраснели.

— Уже два месяца нет известий.

Клешнев сразу же постарался перевести разговор на другое.

— Да... гм... папиросы... двадцать штук в день курю. Денег уходит уйма. Да... А скажите, этот солдат, молодой такой, беленький, — это кто такой? Он у вас часто бывает.

— Дальний родственник, — отвечал Жилкин, тоже охотно меняя тему разговора. — Он с Надей очень дружен.

— Его фамилия Лавров? — припомнил Клешнев. — И отец его — инженер? Я знал инженера Лаврова. То есть он тогда не был еще инженером. Он кончал институт. Его звали Иван Николаевич. У меня дурацкая память на лица, фамилии, цифры. Кстати: мне было двадцать три года, когда я сидел в киевской тюрьме. Я напрасно усомнился.

— Это тот самый, — сказал Жилкин. — Иван Николаевич Лавров. Он мой двоюродный брат.

— Ваш двоюродный брат? Я встречал его очень давно в одном кружке. Потом он исчез. Одно время он, кажется, был довольно деятельным работником. Он бывает у вас?

Жилкин приподнял широкие плечи, развел руками, и сглаживающая резкие слова улыбка появилась на его бородатом лице, как всегда, когда он хотел сказать о ком-нибудь неприятное.

— Нет, он не бывает. Он мне не совсем нравится. Он, несомненно, честный и неглупый человек, но в нем нехватает какого-то понимания. А с его женой мы в решительной ссоре — это невозможная женщина. То есть..

Клешнев перебил, усмехаясь:

— Представляю уже, что за семейка.

— Он женился и совсем отошел от нас, — продолжал Жилкин и прибавил: — а Боря — прекрасный юноша. Я его люблю, как сына. Совсем не в родителей. А отца его я все-таки жалею: он в молодости подавал

большие надежды. Бедствовал ужасно. За женой он взял большие деньги — она из банковской семьи.

— Да? — спросил равнодушно Клешнев. — А вы знаете, чего я тут толкусь по Питеру? Работу на заводе ищу. У меня сейчас легальный паспорт. Гуляю по Питеру свободно. Самая сейчас работа на заводе и в армии. Я ведь все-таки квалифицированный токарь.

— Идите ко мне в секретари, — предложил этнограф.

— Спасибо, — отвечал Клешнев. — Если не удастся на заводе, то с удовольствием.

В передней послышался шум и говор. Жилкин вышел. Это одевались Борис и Надя. Надя объяснила:

— Мы в кинематограф. В «Сатурн».

Жилкин, вернувшись в кабинет, сказал Клешневу:

— Вот как раз Борис тут. Он ушел сейчас с Надей. И прибавил:

— Я думаю, что Толя убит. Он предупреждал, что не выстрелит даже тогда, когда это нужно будет для самозащиты.

Жилкин усиленно мигал, и глаза у него краснели.

Надя и Борис шли на угол, к трамваю. Жилкины жили на Большом проспекте, невдалеке от Каменноостровского. В этот вечерний час народу на улице толклось много. Борис то-и-дело козырял офицерам, а один раз вытянулся во фронт перед генералом. Надю забавляло это. А Борис уже волновался: увольнительная записка давала ему право на жизнь и после восьми вечера, но в кинематографе, особенно в таком шикарном, как «Сатурн», придется спрашивать разре-

шения у старшего чином, придется стоять в антрактах— будет мученье, а не удовольствие. И он уже был недоволен тем, что предложил Наде итти в «Сатурн».

На углу Большого и Каменноостровского они сели в трамвай. Надя хотела войти внутрь вагона, но Борис задержал ее на площадке.

— Мне туда нельзя.

Надя удивилась, но послушалась. Чуть трамвай тронулся, на площадку, вскакивая на ходу, набилось столько солдат, что Борис совсем замрачнел.

Трамвай на предпоследней перед Троицким мостом остановке после звонка кондукторши не тронулся с места. Борис понял, что это значит: патруль военно-полицейской команды. Он стоял в глубине и не мог соскочить, как некоторые, до остановки. Да он и не стал бы: присутствие Нади мешало ему. На площадке осталось шесть человек солдат. Они в ужасе кинулись к противоположному выходу с площадки. Но там стояли уже двое патрульных с винтовками и красными повязками на рукавах: вагон был оцеплен. Борис заглянул внутрь вагона: усатый унтер стоял у входа на переднюю площадку. Значит, там все кончено: солдат ссадили. Теперь примутся за заднюю площадку. Прапорщик, с совсем новыми погонами, должно быть только-что произведенный, появился на миг на площадке и снова нырнул в уличный сумрак. И в следующую минуту молодой солдат взял Бориса за плечо:

— Сходи!

Борис сдернул его руку с плеча:

— У меня билет.

И он показал трамвайный билет.

— Сходи! — злобно закричал патрульный. Он был совсем недоволен своей ролью и хотел как можно скорее отделаться от неприятной обязанности.

Надя молча глядела на все это. Она видела, что помочь она тут ничем не может. Она припомнила теперь жалобы Бориса на запрещение ездить в трамваях — она никогда не обращала внимания на эти жалобы.

Борис сошел с трамвая и оказался вместе с семью такими же, как и он, солдатами в кругу конвойных. Арестованных повели во двор: переписать и отправить в комендантское управление. Борис шагнул один раз, второй, а на третий раз, как будто случайно, запнулся. И тогда конвойный, шедший сзади, тихо потянул его за полу шинели.

— Теки! — сказал он.

Это был тот самый конвойный, который так злобно согнал его с трамвая.

Борис не задумался ни на секунду: он сразу же ринулся из круга конвойных вдоль трамвайной линии. Кто-то крикнул: «Держи!» И еще: «Лови его!» Люди, следившие за солдатом, убежавшим из-под конвоя, думали, должно-быть, что это опаснейший преступник — убийца или шпион. Никто бы не поверил пустяковой причине, создавшей такую суету на Каменноостровском проспекте.

Трамвай только что двинулся с остановки, и Борис никак не мог обогнать его, чтобы перебежать рельсы, хотя он мчался по проспекту стремительнее, чем в атаку. Все — сзади и справа — гнались за ним. Каждую секунду враг может оказаться впереди. А слева — проклятый трамвай. Трамвай не отстает и не перегоняет. По-

даться Борису некуда. А за бегство из-под конвоя полагается наказание почище обычных дисциплинарных взысканий. Военная тюрьма, штрафной батальон...

Вагоновожатый на всем ходу остановил трамвай: он заметил и понял солдата. Борис дернулся влево, перебежал рельсы, и вагоновожатый тотчас же снова дал полный ход трамваю, отделив Бориса от преследователей. Борис никогда не узнал, кто был этот вагоновожатый. Он так же мелькнул в его жизни, как тот пулеметчик, который спас ему жизнь в поле за Наревом.

С того момента, когда конвойный потянул Бориса за полу шинели, прошло не больше двадцати секунд. А через десять секунд Борис уже затаился в первом же дворе, забежав далеко вглубь, к помойке. Там он перевел дыхание: он был жив и спасен. Отдышавшись, он вышел на Каменноостровский проспект. Уже то, что гналось за ним, исчезло отсюда. Трамваи, экипажи и люди ежеминутно сменялись на этом отрезке улицы Они появлялись справа и слева и уходили с разной скоростью. Борис двинулся пешком по панели к Троицкому мосту. В том, что случилось с ним, ничего неожиданного или необычного для него не было. Он был даже доволен: по крайней мере избавился от необходимости пойти в кинематограф. И чего это ему в голову взбрело развлекаться не во-время!

Против памятника «Стерегущему» Надя остановила Бориса.

— Я так и знала, что ты тут, пойдешь домой. Я тебя жду.

И тотчас же:

— Что это такое?

Борис пожал плечами.

— Ничего особенного. Самое обычное дело. Ты извини, что так получилось глупо.

Надя вдруг заплакала. Борис растерялся. Сам он плакал в последний раз шести лет отроду. Тогда восьмилетний Юрий без всякой причины хлопнул его по щеке. Борис заревел во всю глотку не столько от боли, сколько от неожиданности и оттого, что брат слишком всерьез ударил его, по-взрослому. С той поры ему не приходилось плакать, хотя причины бывали. Он как-то сразу и навсегда поверил отцу, что плакать стыдно и не к чему. Он привык дома не к плачу, а к истерикам, которые ненавидел. А тут девушка плакала без всякой истерики, еле слышно всхлипывая. Было жалко глядеть на нее и было совершенно непонятно, как остановить этот плач. Борис бормотал:

— Что ты?.. Успокойся... что с тобой сделалось?

Прохожие с усмешкой оглядывались на солдата с георгием на груди и плачущую девушку: обольстил, наверное, а теперь на попятный!

Надя резко оборвала плач, отерла глаза рукавом пальто и сказала:

— До свидания и, пожалуйста, не провожай меня.

И быстро пошла прочь.

Борис шагнул вслед за ней, но остановился. Он ничего не понимал. Потом догадался: ведь для нее все то, к чему он так привык на улицах Петербурга, совершенно неожиданно и необычно. Неужели же положение солдата до такой степени тяжело, что может даже довести до плача? И он пошел к мосту. Все-таки он рад был, что

не попал в «Сатурн». Завтра к шести утра — в казармы, и теперь он успеет выспаться.

А Надя выплакалась окончательно только к двум часам ночи. Она никому бы не созналась в истинной причине плача. И никому бы не сказала того еще, что ей все-таки стыдно было, что с ее Борисом публично так грубо обошлись, а он должен был покориться.

XII

Новый взводный Бориса, службист из учебной команды, ничего, кроме военной службы, не признавал. Все, что только он ни говорил, так или иначе относилось к военной службе. Он, например, длинно рассказывал о том, как шел он по улице и вдруг навстречу ему генерал от-инфантерии. Но он не растерялся и шикарно встал во фронт. Генерал поглядел на него и похвалил за хорошую выправку. Взводный ответил: «Рад стараться, ваше высокопревосходительство!» На этом рассказ кончался. Самый факт встречи с генералом представлялся взводному настолько значительным, что не требовал никакого особого расцвечивания. Или он внедрялся в тонкости воинского устава и в заключение орал в па-

— Солдат должен ходить женихом, картинкой!

фосе:

Саперы слушали. Они не могли не слушать.

При новых взводных и отделенных служба стала тяжелее. Увольнительные записки выдавались не так легко, как прежде. На учении новое начальство цукало солдат. Чаще прежнего звучала команда:

— На выпаде останься — коли!

Замысловатые построения, маршировка, учебный шаг под непрестанный крик:

— Ногу тверже! Ногу тверже!

И бег. Саперы бежали потные, несмотря на мороз, задыхались; винтовка прыгала на плече, и хотелось поддержать ее правой рукой, но желанной команды «шагом марш!» все не было.

Ротный и полуротный являлись теперь на учение ежедневно.

И наряды. Борису ни разу не пришлось быть дневальным в офицерском собрании, где надо было снимать и подавать шинели офицерам. Зато он часто бывал дежурным и дневальным по роте, дневальным у парадного подъезда, у ворот, по уборным. Дневальный стоял только полночи и на следующий день освобождался от утреннего учения, на вечернее же учение должен был являться. Дежурный должен был не спать всю ночь до утра и на следующий день совсем освобождался от учения.

В ту ночь, в которую Борис был дежурным по роте, испортился водопровод в казарме, и уборные не действовали. Дневальный при уборных должен был все время работать квачом. Борис, когда дежурный офицер, совершая обход, зашел в роту, подскочил к нему с рапортом:

— Во время дежурства в восьмой роте «г» никаких происшествий не случилось, кроме того, что испортился водопровод, и уборные не действуют.

Такова была форма рапорта. Даже если бы вся рота была ночью вырезана, надо было все равно начать рапорт с неизменных слов: «во время дежурства ника-

ких происшествий не случилось», и только дальше: «кроме того, что вся рота убита, и только я один остался в живых». Эта была форма бодрости и благополучия.

Дежурный офицер выслушал рапорт и удалился. Но через пять минут явился снова. Борис опять отрапортовал ему о том, что уборные не действуют. Офицер ушел и тотчас же вернулся. Борис снова к нему про уборные. Офицер выслушал, усмехаясь, и через минуту опять пришел в роту. Борис понял, что офицеру скучно, хочется спать, и он просто забавляется, заставляя солдата вновь и вновь повторять один и тот же рапорт. Борис шесть раз под ряд отрапортовал дежурному офицеру, пока тот, наконец, не удалился окончательно, вполне удовлетворенный своей шуткой.

Обязанности дневального у парадного подъезда заключались в том, что он должен был отворять двери господам офицерам и не пускать низших чинов, имевших право на вход и выход только со двора. Однажды Борис не отворил дверь подпоручику Азанчееву из шестой роты, жившему по той же лестнице, где помещалась восьмая рота. Борис отдал честь подпоручику. Тот остановился и сказал совсем спокойно:

— Отвори дверь!

Борис подчинился.

— Шире! — сказал подпоручик и перед второй дверью приказал снова: — Отвори!

Выйдя на улицу, он обернулся к Борису и тем же спокойным голосом, прямо глядя ему в лицо, сказал несколько особенно ядовитых бранных слов. И пошел по улице прочь. Он шагал бодро и уверенно, как хозя-

ин. Ночные фонари уходили по Кирочной улице вправо и влево. Было бело от снега и пустынно.

Город спал.

Дежурный у ворот должен был проверять увольнительные записки у солдат и не пускать во двор посторонних. Он должен был также следить за уличной жизнью и в случае события, угрожающего спокойствию казармы, вызвать звонком дежурного офицера.

Одновременно со строевой подготовкой началось обучение саперному искусству. Для этого в роте имелся ящик с землей. Взводный, втыкая палочки в землю, бестолково объяснял солдатам искусство сапера. Никто ничего не понимал, да и понять было невозможно. Так саперы и оставались без специальных знаний.

Солдаты старались всячески избежать службы. Самый верный способ был — вымолить у врача в околотке отпуск по болезни на день, а то и на два, даже на три дня. Если это не удавалось — применялись более рискованные способы: сговорившись с фельдфебелем и дежурным у ворот, солдаты уходили без увольнительной записки, или после дневальства пропускали не только утреннее, но и вечернее учение, рассчитывая на то, что взводный не заметит или поленится донести ротному. Такими «смекалистами» были, конечно, только петербуржцы или те из иногородних, которые успели уже обзавестись в столице приятными знакомствами. Многим все это сходило благополучно, многие попадались. Однажды самый заядлый «смекалист», толстый, уже с сединой в волосах, ратник попался на улице без увольнительной записки. И ротный посадил этого почтенного отца семейства под арест на пять суток.

Борис вспоминал фронтовых «смекалистов». Там ловчились иначе. Обернув дуло винтовки мокрой тряпкой, чтобы не получилось ожога, солдат стрелял себе в палец, а потом шел в околоток на самом законном основании, как раненный. В начале каждого боя такие «самострелы» группами шли в тыл. Впрочем, опытные врачи редко обманывались. Они, помазав рану иодом и наложив повязку, беспощадно гнали солдат с пальцевыми ранениями обратно в бой. В особенности занимались самострельством почему-то татары.

Были солдаты, которые симулировали контузию: глухоту или немоту. Однажды Борис видел случайно, как обличили одного такого симулянта. Он притворился глухим. Фельдшер отобрал у него солдатскую книжку, посмотрел имя и фамилию и, осторожно зайдя сзади, неожиданно окликнул его. Голова солдата инстинктивно дернулась назад, и этого движения было достаточно для того, чтобы обличить его. Врач дал солдату пощечину и прогнал в окопы.

И еще одну сцену помнил Борис. Однажды татарин, только-что прибывший с маршевой ротой, чрезвычайно испугался завязавшейся перестрелки. Эти пустяки показались ему таким сильным боем, в котором, он, несомненно, будет убит, и семья его в далекой Казанской губернии останется без кормильца. И он тут же при всех выстрелил себе в левую руку. Он начисто оттяпал средний и указательный пальцы и ожег себе всю ладонь и тыльную часть руки до кисти. Весь взвод смеялся над глупым татарином, а тот молчаливо и кротко глядел на солдат, считая, что он поступил вполне правильно и хорошо, и теперь, ценой двух пальцев, вер-

нется в семью. Борис отпросился сопровождать татарина в околоток, чтобы передать донесение ротного. Врач, перевязав рану, присовокупил к заявлению ротного и свое заключение, после чего послал татарина в штаб полка. Это уже не понравилось Борису: он испугался, что адъютант прикажет ему расстрелять татарина. Но не ему пришлось выполнить это без промедления последовавшее распоряжение. Татарин был расстрелян штабной командой невдалеке от штаба и тут же зарыт в землю. Он умер, должно-быть, все такой же молчаливый и кроткий, вполне уверенный в том, что он поступил правильно и хорошо. И, должно-быть, он до последней секунды верил в то, что все эти солдаты и офицеры только шутят с ним, а на самом деле они сейчас вернут его домой, где он так нужен. Он, конечно, не услышал залпа (звук не успел достичь слуха, — пуля летит быстрей) и умер, не поняв шутки до конца. Здравый смысл только в шахматах может итти прямой дорогой.

Борис сам не заметил, как перестал интересоваться всем, кроме солдатской жизни. Он уже радовался, когда его назначили на воскресенье в наряд, и он мог не итти домой. Ему не хотелось видеть родных, живших совсем иной жизнью, иными интересами. Он понимал, что только теперь фронтовая жизнь начинает оформляться в его сознании и менять его характер. Он даже к Жилкиным реже стал заходить. Тамошние разговоры представлялись ему совсем ненужными, ни к чему не ведущими. Борис, припоминая отдельные факты и соединяя их в одно целое, сомневался уже в самой системе жизни, которая ведет человека в тупик, в чепуху. Его

жизнь была сейчас наполнена подготовкой к войне, а он знал, что такое война, и никак не верил в то, что она ведется правильно и что она вообще нужна.

Надя замечала, что Борис стал совсем другим: угрюмым и молчаливым. Однажды она долго говорила о нем с Фомой Клешневым. Фома Клешнев, привыкший утилизировать чужие настроения для определенных целей, сказал, что хорошо бы из этого разочарованного солдата сделать революционного агитатора. Надя передала эти слова Борису. При этом она пустилась в длинные объяснения о войне, о казарменной жизни, о дисциплине и обнаружила довольно точное знание и понимание психики солдата. Впрочем, она была умна чужим опытом: она много читала и умела внимательно слушать людей, рассказывающих о себе.

На следующий день, на учении и в казарме, Борис думал: неужели возможно повести всех этих так не похожих друг на друга людей против привычного начальства?

Все это—грозное офицерство и весь порядок казарменной жизни — было такое плотное, живое, крепкое, сильное, устойчивое, что нечего было и думать о борьбе. И слова Фомы Клешнева, переданные Надей, вместо того, чтобы приободрить Бориса, произвели совершенно обратное действие: он впал в отчаяние. На эту ночь он был назначен в наряд: дежурным у ворот. К десяти часам вечера, как это и раньше часто случалось, к воротам подошла кучка женщин. Разбитная баба в дешевой шляпке завела беседу. Обратилась для начала к подруге:

— Смехота, Дарьюшка, да и только: опять муж помер. Вот я к солдатам и пришла.

Борис обычно гнал женщин от ворот казармы. Но на этот раз он заговорил с ними. А потом послал дневального в роту:

— Скажи дежурному. Да и фельдфебеля толкни.

Дневальный убежал. Он вернулся быстро с неожиданным известием: рота хочет женщин. Неожиданно было то, что женщину потребовал и сам Козловский. Значит — не будет никаких препятствий, если только дежурному офицеру не взбредет на ум зайти в роту.

Борис оставил дневального у ворот и сам проводил женщин в роту. Он даже не разглядел лица той, с которой сразу же устроился на нарах. А потом, не спросив ее имени, побежал вниз по лестнице к оставленному посту. Он, отпустив дневального, остался один у ворот. Было черно на улице и черно под аркой. В небе ни луны, ни звезд, — одна только пелена зимних туч. Дневальный вернулся через полчаса. А к трем часам ночи Борис выпустил женщин на улицу.

Женщины были довольны, а одна из них даже обратилась к Борису:

— Ну уж и взводный там был! Смехота! Такого и на десяток хватит.

Борис понял, что женщина говорит про Козловского.

Борис не пошел домой после дежурства. Он остался спать в казарме. Солдаты, вернувшись с учения, говорили о прошедшей ночи. А потом стали вспоминать своих жен (у кого они были). Борис, проснувшись уже, слушал их. И к вечеру такая тоска охватила казарму,

что Семен Пыль, бородач из третьего взвода, заплясал, припевая все одно и то же:

Отвяжись, плохая жизнь,
Привяжись хорошая!

К нему присоединилось еще двое, еще — и вскоре чуть не вся рота запела, но уже не то, что Семен Пыль. а другое...

Лучше было, лучше было не ходити.
Лучше было, лучше было не любити!..

Фельдфебель вышел из канцелярии полюбоваться. Унтер Козловский сидел на подоконнике молча и улыбался ехидно. Он испытывал наслаждение, как всегда, когда видел отчаяние в людях. Борис, который пел, как все, подумал, остановившись на миг, что вот именно на таком массовом отчаянии или массовом восторге играют, должно-быть, агитаторы. А еще большее искусство— угадать живущее во всех людях одно и то же ощущение, еще ни в чем не выражающееся, и вырастить его в огромное чувство. И уже огромная сила нужна для того, чтобы вдунуть в людей чувство, которого и не было у них, и повести их за собой. Но тут же он снова заголосил, сливаясь с остальными в отчаянии и тоске:

Лучше было, лучше было не ходити!

Потом затихла песня.

Семен Пыль переводил дыхание, мотал головой, как бык, и говорил:

— С натуги у меня и глаза набекрень.

Тоска не прошла. И снова затянули солдаты длинную, как дорога, песню.

В середине декабря рота держала экзамен при учебной команде. Экзамен по строю прошел прекрасно. По

саперному искусству провалились все без исключения.

Вскоре после экзамена Борис без всякого рекомендательного письма отправился к великому князю Дмитрию Павловичу, о котором часто говорили в казарме с надеждой и ожиданием. Он испугался, когда швейцар впустил его в вестибюль дворца. На вешалке висели шинели гвардейских офицеров, которым Борис чуть не отдал чести, хотя шинели были пустые, без людей. А вышколенный швейцар уже снимал с него шинель. Швейцар был уверен, что этот вольноопределяющийся — не иначе как граф или князь, будущий гвардейский забияка: какой же другой солдат решится притти во дворец!

Борис поднялся по широкой лестнице в комнату, обставленную так, что он отказался бы тут жить — до того чрезмерны были эти роскошь и простор. К Борису вышел секретарь великого князя. Это был молодой человек, у которого все — и черное и белое — сверкало ослепительно. Секретарь держался прямо, говорил отчетливо и напомнил Борису англичанина, певшего у Жилкиных национальный гимн. Секретарь, не прерывая, выслушал несвязные фразы Бориса о тяжести нестроевой дисциплины, о бессмысленности войны и неожиданно, вместо того, чтобы выгнать солдата, сказал:

— Да. Его императорское высочество очень скорбит о положении русского солдата, надеется улучшить тяжелую жизнь и уничтожить измену.

Секретарь записал имя, фамилию, роту и батальон Бориса и отпустил его. Только пожимая секретарю ру-

ку, Борис заметил, что тот совершенно пьян, и удивился выдержанности и корректности этого человека. А слова его он понял позже, когда — не из газет, а из шопотом передававшихся рассказов — он узнал о готовившемся дворцовом перевороте и о том, что Дмитрий Павлович принял участие в убийстве Распутина.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIII

С 13 ФЕВРАЛЯ была прекращена выдача увольнительных записок. Солдат не выпускали из казарм даже на воскресенье. Ученье происходило уже не на улицах, а в помещении роты. На вечернюю перекличку каждый раз являлся ротный командир. При батальоне был организован дежурный взвод на случай экстренного вызова. Связь с внешним миром у солдат была окончательно утеряна: они ничего не должны были знать, кроме казармы, и никого не должны были слушать, кроме начальства. «Смекалисты» присмирели: нарушение дисциплины грозило уже не простым арестом и даже не штрафным батальоном, а чем-то похуже. По ночам, шопотом, солдаты передавали друг другу о том, что рабочие бастуют.

Козловский был всем этим очень доволен: для него — чем хуже, тем лучше. Для полного удовольствия он, когда вышел приказ о прекращении отпусков, завел денщика: Семен Пыль обязан был каждый вечер стягивать с него сапоги. А унтер беседовал с ним:

— Какой ты губернии?

— Костромской губернии, господин взводный, — отвечал бородатый ратник.

— Плохая твоя губерния, — шутил Козловский. — Отменить надо твою губернию. Вот доложу ротному — он и отменит.

Семен Пыль, стягивая сапог с ноги взводного, говорил покорно, понимая, что начальство шутит:

— Это как вашей воле будет угодно, господин взводный! Только человеку без губернии жить никак невозможно. Отдыхать после военной-то службы негде будет.

— Военная служба должна быть всю жизнь, — строго отвечал унтер.

— Уж не надо всю жизнь, — возражал Семен Пыль, думая, что начальство продолжает шутить.

— Как не надо?!

И, размотав портянки, Козловский вставал с нар и, нагнувшись, брал в руку сапог. Семен Пыль объяснял испуганно:

— Мы не интересуемся худо сказать, мы интересуемся хорошо сказать, господин взводный!

Но унтер уже бил его сапогом по широкой шее.

Эта сцена, в разных вариациях, повторялась каждый вечер, и каждый вечер Семен Пыль не мог уловить момента, когда взводный переставал шутить и начинал говорить серьезно.

24 февраля рота несла усиленный наряд. На все посты люди были выставлены в двойном против обычного количестве. Им даны были винтовки с боевыми патронами. Борис стоял дежурным у ворот.

Еще не было двух часов дня, когда из-за угла Знаменской улицы вышла и запрудила Кирочную улицу толпа людей, среди которых не было ни одного воен-

ного. Трамвай шел с Литейного проспекта и должен был остановиться перед казармами, чтобы не врезаться в остановившуюся тут толпу. Трамвай был немедленно же окружен; пассажиры, кондуктора и вагоновожатый сошли на мостовую. И тут же, на глазах у Бориса, трамвай был опрокинут.

Рабочий подошел к Борису и сказал:

— Дай винтовку! Иди с нами, товарищ!

У него, как и у всех в толпе, к груди приколота была красная ленточка. Борис не успел ответить ему: рабочий сразу же отошел обратно к рельсам. Он понял, должно-быть, что солдату не так легко присоединиться к восставшим, как ему. Трамваи — один за другим — останавливались. Вагоновожатые, кондуктора и пассажиры высаживались на улицу и частью расходились, частью присоединялись к толпе. Громада людей шевелилась, медленно двигаясь к Литейному проспекту. Она выбрасывала то одного, то другого человека, и потом вбирала в себя обратно этих выскакивающих одиночек. Борис должен был вызвать дежурного офицера, но он не сделал этого. Впрочем, дежурный офицер — молоденький прапорщик — вышел сам к воротам и, стоя рядом с Борисом, ничего не предпринимал. Он растерянно глядел на людей, останавливающих трамваи, и молчал.

И вот уже пусто перед казармами — толпа окончательно сдвинулась налево. Тогда из-за угла Знаменской улицы выкатился полковник Херинг. Подпрыгивая на ходу, он быстро шел к воротам. Он был похож на закипевший пузатый самовар, который вдруг двинулся в поход, чтобы обварить всех кипятком. Прапорщик подле-

тел было к нему с рапортом, но полковник, перебивая его, закричал:

— Почему не вызвали дежурный взвод? Надо было бросить их (он показал на Бориса) в штыки! Оцепить, арестовать!..

Оттопыривая губы и снизу вверх глядя на дежурного офицера, он без передышки отсыпал дюжину самых крепких ругательств. Прапорщик молча тянулся перед ним.

— На гауптвахту!

И полковник пошел прочь.

Это в первый раз оказалось, что дежурный взвод организован при батальоне не зря, что это самая реальная опасность — быть кинутыми в атаку на беззащитную, невооруженную толпу.

Вечером рота обсуждала эту возможность: как быть, если придет приказ итти в штыки на толпу?

Взводный Бориса долго молчал. Потом ответил угрюмо:

— Поверх голов стрелять будем.

И большинство солдат согласилось с ним.

Взводный разъяснил подробнее:

— Прикладом легонько расталкивать да приговаривать: расходитесь, мол, так-то...

Совершенно неожиданно запротестовал огромный, тучный финн из второго взвода:

— Я солдат, — заговорил он, — и я буду стрелять.

Обычная флегма слетела с него. От полного спокойствия он перешел к крайней степени возбуждения. Он орал, взгромоздившись на нары:

— Я солдат, и я буду стрелять! Да!

Как будто он напился в воскресенье в родной деревне и буянит, катаясь взад и вперед на санях в обнимку с товарищами.

— Я буду стрелять! — кричал он.

Козловский не улыбался. Он, щуря левый глаз, приглядывался к роте и помалкивал.

Семен Пыль принялся за ужин. Он отломил кусок хлеба и молвил:

— Христос сказал ученикам: коль вилок нет, так ешь рукам.

И, подманив Бориса, начал:

— Я тебе скажу, что страна наша темная: городской — видел сегодня? — не все понимает, а возьми деревню — темнота. Я тебе скажу историю, а ты слушай. Слушаешь?

— Слушаю, — отвечал Борис.

— Слушай, — сказал Семен Пыль. — Жили мужик да баба. Убили они борова. Насолили ветчины, а мужик и говорит: «это к весне-красне ветчина». Ох-хо-хо!

И Семен Пыль страшно раскашлялся и рассмеялся. Покачав лохматой головой и успокоившись немного, осведомился:

— Слушаешь?

— Слушаю, — отвечал Борис.

Семен Пыль продолжал:

— Уехал мужик, а баба и спрашивает соседей: «когда же весна-красна придет?» А никто не знает. Ох-хо-хо!

И Семен Пыль рассмеялся так, что его бородатое лицо побагровело.

— Слушаешь? — спросил он.

— Слушаю, — отвечал Борис.

— И видит баба: идет под окнами солдат весь в красном, — продолжал Семен Пыль. — Подумала баба: а не весна ли это красная идет? Выходит и говорит: «А не весна ли ты красная пришла?» А солдат сказал: «Да, — говорит, — это я и есть весна-красна». Обрадовалась баба: «Мы ветчину насолили, а мужик сказал: это к весне-красне. Погоди—вынесу». Вынесла и отдала солдату мясо. Солдат взял и ушел. Ох-хо-хо!

Семен Пыль долго не мог успокоиться, приговаривая в восторге:

— Темнота-то какая! Темноту мужичью отметь!

И продолжал:

— Приехал мужик, а баба ему: «Приходила весна-красна, мясо взяла и ушла». Мужик удивляется: «Да у нас зима на дворе!» И стал мужик бабу бить. Ох-хо-хо! Темнота-то!

И тут такой хохот пошел из солдатского горла, что и Борис не выдержал — засмеялся, хотя, казалось ему, и сам Семен Пыль, так сетующий на мужичью темноту, темен, как дремучий лес.

Козловский прекратил смех, призвав ратника к исполнению вечерних обязанностей: снимать сапоги. Семен Пыль пошел, шевеля головой так, как будто унтер уже бил его сапогом по шее.

Борис плохо спал эту ночь. Он ворочался с бока на бок, вызывая ожесточенную брань соседей. Он думал о том, чтобы избавиться как-нибудь от назначения в дежурный взвод, и ничего не мог придумать. А назначение может притти завтра, послезавтра...

Было уже совсем тихо в казарме, когда огромный финн забродил вдруг по комнате, как лунатик, тихо ступая по холодному полу босыми ногами. Борис следил за ним; финн поймал его взгляд, подошел и сказал негромко, но убедительно, прижимая обе руки к тучной груди:

— Я должен стрелять. Я — солдат.

XIV

Инженер Лавров не ходил на завод. Он сидел дома: Клара Андреевна не пускала его на улицу. Инженер покорился жене и только изредка говорил, вздыхая:

— Да, дело — дрянь.

Анисья удержалась у Лавровых: она была тиха и послушна и смогла вытерпеть столько месяцев ежедневной брани. В последние дни она двигалась по квартире совсем неслышно, на цыпочках; отвечала Кларе Андреевне шопотом, а иногда останавливалась вдруг и стояла недвижно минуту, а то и больше, словно то-и-дело обращалась в соляной столб. И казалось: она стала еще ниже ростом и превратилась уже в настоящую старуху. Этого не было с ней, когда вдруг сгинула серебряная монета, а за ней сахар и хлеб, когда очереди у лавок напрасно стыли на морозе. Она тогда энергично помогала Кларе Андреевне запасаться провизией, и на кухне лежало уже в мешках три пуда пшеничной и ржаной муки, мешочек с крупой, сало, какао, банки с консервами и многое другое, что должно было обеспечить семейство на долгое время. А вот 25 февраля Анисья вдруг совсем постарела и стихла. В этот день, после обеда, она подошла к Кларе Андреевне, раскрыла рот, словно желая сказать

что-то, и ничего не сказала. Постояла перед Кларой Андреевной и пошла на кухню. Клара Андреевна поглядела на мужа так, будто он во всем виноват.

— Видишь! Я же тебе всегда говорила, что она сумасшедшая. Ты еще дождешься от нее припадка. И потом где же Юрий? Сколько раз я тебе говорила, чтобы он не выходил на улицу. Неужели у тебя нет власти даже над собственными сыновьями! Сам сидишь дома, а о детях не заботишься.

Она сама запретила мужу выходить, но была так уверена в послушании его, что позволяла себе такие упреки.

— Да, — отвечал инженер Лавров, — дело — дрянь.

— Теперь ты видишь, как я права, — продолжала Клара Андреевна. — Эти Жилкины! Они не могут не устроить гадости.

Во всем, что происходило на улицах города, и даже в том, что не стало в Петербурге хлеба, она винила Жилкиных.

Муж возразил тихо:

— Причем тут Жилкины?

— Ты всегда споришь! — воскликнула Клара Андреевна. Она была рада отвлечь свое внимание привычной семейной сценой: скандал с мужем успокаивал ее и доказывал, что все обстоит благополучно, как прежде.— Ты всегда возражаешь против фактов. Я не люблю никаких фантазерств и истерик. Какой ты мужчина! Мужчина должен быть спокойным и трезвым. Я люблю факты: все это — Жилкины, и ты напрасно возражаешь.

Она боялась думать о Борисе: Бориса она не видела уже с 13 февраля. Это было бы ничего, если бы он был на фронте: можно было бы успокаивать себя тем, что он не в окопах, а в тылу. А тут все происходит на глазах и никак нельзя не видеть и не понимать того, что происходит.

Юрий с утра до вечера шатался по улицам и к ужину приносил всегда вороха новостей. Он рассказывал о том, как его обстреляли из пулемета, или как на Знаменской площади убили пристава, и Клара Андреевна напрасно уговаривала его сидеть дома: никакие убеждения не действовали на сына. Он пропадал и 26 февраля и 27 февраля тоже ушел с утра.

Утром 27 февраля Клара Андреевна не уследила за мужем: он пошел на кухню — попить кипяченой воды. И сразу же непонятный шум послышался оттуда. Клара Андреевна, раскладывавшая пасьянс, затихла, а потом нарочно стала продолжать пасьянс, чтобы своим спокойствием отвести все неприятное, что может случиться. Она даже приговаривала очень мирно и убедительно:

— Валета — сюда, тройку — сюда, двойку...

Но тут поразил ее не оставляющий никаких сомнений рев Анисьи. Клара Андреевна тихо встала, не кончив пасьянса, и улыбнулась нарочно:

— Ну вот. Из-за тарелки так плакать. Ну, разбила тарелку — разве же я убью за это? Купим другую.

И она крикнула:

— Ванечка! Где пенснэ?

Пенснэ было у нее на носу.

— Ванечка! — звала Клара Андреевна. — Ты опять куда-то засунул пенснэ!

Ванечка не откликался, а рев Анисьи на кухне рос, ширился и заполнял всю квартиру.

— Анисья! Ванечка! Ну где же пенснэ? — спрашивала Клара Андреевна, расхаживая по кабинету и боясь выйти на оглушительный рев старухи: и откуда столько крику в таком маленьком чахлом теле!

— Ты вечно куда-нибудь засунешь! — воскликнула Клара Андреевна, слыша быстрые приближающиеся шаги и с ужасом глядя на дверь.

И когда Анисья не вбежала, а вскользнула в комнату, она, не давая ей слова сказать, сразу же перебила:

— Где пенснэ? Если ты разбила тарелку — купим другую. Куда ты засунула пенснэ?

Анисья уже причитала:

— Барин! Барин!

Клара Андреевна сказала тихо:

— Успокойся. Что ты кричишь?

И пошла на кухню.

Дверь была открыта настежь. Это перед тем, как побежать к Кларе Андреевне, Анисья выскочила на лестницу: кликнуть на помощь людей. Дворник и еще двое незнакомых мужчин сбились у дверей. На полу лежало лицом вниз неподвижное тело. Клара Андреевна увидела знакомые истертые подошвы. Носки спустились, штаны задрались, обнаружив кальсоны и полоски волосатых ног.

— Это что такое? — спросила Клара Андреевна. — У меня нет пенснэ, я не вижу.

Сын дворника обнаружил свое присутствие за спиной отца:

— Очки-то на носу.

Дворник дал ему затрещину, но мальчишка не ушел — только отступил к лестнице. Холодный воздух шел из открытой двери.

Клара Андреевна стояла недвижно. Она на миг лишилась зрения и понимания. Она была совсем беспомощна перед всем этим, как маленькая девочка. Потом Клара Андреевна вскрикнула неистово и упала на тело мужа, но не лишилась сознания. Сразу же вскочила и помчалась в комнаты, потом ринулась снова на кухню.

— Волнуется, — определил ее поведение дворник.— Все-таки вместе много прожили.

И он пошел к парадной двери, где уже давно трезвонил кто-то. Это вернулся Юрий. Юрий, сбросив шапку и не снимая пальто, пробежал в кухню и сразу же стал распоряжаться. И через десять минут безжизненное тело инженера Лаврова лежало на диване в гостиной.

Клара Андреевна сказала Юрию:

— Надо как можно скорее доктора.

Юрий пожал плечами.

— Зачем?

И вдруг заплакал — совершенно просто и без всякой аффектации. И так же просто заплакала Клара Андреевна. Оба они горевали на этот раз совершенно искренне.

Плач прервала Анисья. Успокоившись, она сразу же зажгла примус и стала готовить яичницу, сбив в сковородку шесть яиц. И теперь она вышла в гостиную и сказала:

— Завтрак подан.

Клара Андреевна с ужасом поглядела на нее. Юрий взял мать под руку и повел в столовую.

Клара Андреевна с Юрием ели яичницу, а потом пили чай.

Плач и завтрак слегка успокоили Клару Андреевну. Она попыталась вернуть себе прежний тон.

— Эти Жилкины, — сказала она и замолчала, она поняла, что никакие слова не смогут отвлечь ее от несчастья. Обойти это несчастье было невозможно. Надо было пройти через него, пережить его и только от будущего, опираясь на сыновей, ждать успокоения.

В это время Григорий Жилкин, поднятый многими руками, кричал солдатам первого пехотного запасного полка:

— Я могу теперь полным голосом сказать, наконец, что я — социалист! Товарищи!..

И сам этнограф Жилкин, глядя в окно на шумливый Большой проспект, говорил торжественно:

— Заря русской свободы разгорелась ярко.

Он прощал судьбе то, что его сын Анатолий убит на фронте. В его квартире набиралось все больше и больше народу. Люди входили и уходили, не обращая внимания на хозяев, и Жилкин радовался этому: это доказывало, что его квартира признана революцией.

Надя с надеждой глядела на всякого нового гостя и сразу же поникала огорченно: она ждала Бориса, а Борис все не являлся.

А инженер Лавров лежал у себя в гостиной на диване.

Ему повезло: он умер от разрыва сердца, не успев заметить того, что умирает.

XV

27 февраля, в семь часов утра Борис и еще четыре солдата его роты отправились в околоток к врачу, чтобы избежать назначения в дежурный взвод. Четыре солдата выстроились во дворе по-двое, и Борис, как старший, повел их по улице к Преображенским казармам, где помещался околоток. Борис был так занят своими мыслями, что не заметил подпоручика Азанчеева, идущего навстречу по панели. Он не скомандовал: «Смирно! Равнение направо!» — и услышал окрик:

— Сюда! Бегом!

Подняв руку к козырьку фуражки, Борис подскочил к поручику.

Офицер кричал:

— Раззява! Болван!

— Виноват, ваше высокоблагородие, — отвечал Борис.

Подпоручик тут же учинил ему экзамен по строю: заставил повернуться направо, налево, кругом. Потом отпустил его. Солдаты смеялись в четыре глотки, когда Борис вернулся к ним. Борис привел их в Преображенские казармы, во двор, направо, по лестнице, во второй этаж, в околоток. Комната была полна солдат, пришедших сюда, чтобы получить освобождение от службы в эти тревожные дни. Борис ждал очереди. Врач отправлял солдат одного за другим обратно в строй: все они были совершенно здоровы, и всех их, так же, как и Бориса, привел в околоток страх быть посланными на усмирение.

Было двадцать пять минут девятого, когда на улице, под окнами, неожиданно раздались выстрелы и крики

«ура». Борис вместе с другими солдатами бросился к окнам. Несколько офицеров вошли в комнату и, не останавливаясь, скрылись за противоположной дверью, в госпитале. Никто не отдал им чести. Врач немедленно прекратил прием и ушел вслед за ними.

Никто из солдат не понял значения этих выстрелов и криков. Они видели под окнами нестройные группы волынцев, литовцев и преображенцев, стрелявших в воздух и кричавших «ура», и не понимали.

Фельдшер сказал:

— Парад, что ли?

И в этот миг стекло в окне, у которого он стоял, разбившись со звоном, пропустило в комнату взвизгнувшую радостно пулю.

Фельдшер побледнел, согнулся и спросил недоуменно:

— Это что же такое?

Солдаты отскочили от окон в глубь комнаты. Навстречу им, с лестницы, испуганный прапорщик тащил в комнату капитана. Китель у капитана был расстегнут на груди, рубашка намокла кровью. Прапорщик спросил растерянно:

— Где доктор?

Капитан бормотал:

— Это пустяки. Ничего.

Фельдшер все еще не мог понять, что это такое происходит. Он спрашивал:

— Это на ученье, ваше высокоблагородие?

Сапер ворвался в комнату.

Помахивая винтовкой, он завопил:

— Что у ворот делается!..

И повернул прочь из комнаты. Солдаты, только что жаловавшиеся на боли, мешавшие им двигаться, ринулись за ним вниз по лестнице. Навстречу бледный, с прыгающими губами, перескакивая несколько ступенек за раз, стремился начальник учебной команды. Никто не отдал ему чести, но никто и не тронул его.

Сапер, влетевший с улицы в околоток, бежал впереди. Выскочив из подъезда, он оглянулся. Он увидел, что за ним прутся солдаты, как за вождем, и оробел вдруг: он бы с удовольствием пошел куда угодно, но в толпе, так, чтобы он отдельно не был заметен. А вести толпу, быть вождем — на это он никогда не согласился бы. Он остановился, за ним остановились и те, что бежали сзади.

Двор был пуст. Волынцы, литовцы и преображенцы стреляли залпами в ворота и кричали в промежутках между залпами:

— Саперы! Выходи!

Саперы жались за выступом стены, скрываясь от пуль: они совсем оробели, снова потеряв веру в успех того, что затеяли волынцы.

Борис стоял среди них. Он видел, как из подъезда — как раз против ворот — вышел командир батальона полковник Херинг. Полковник не подпрыгивал на ходу. Маленький, толстый, в серебряного цвета шинели, он плавным, твердым шагом пошел к воротам, вытянув вперед правую руку, в которой был наган. Он шел и стрелял в восставших. Он был один против по крайней мере двух рот озлобленных солдат. Но он шел так уверенно и так настойчиво, что вдруг совсем тихо стало: солдаты замолкли и перестали обстреливать двор. А

полковник шел упорно, непреклонно, и уже видно было, что он не от жиру толстый, а от мускулов. Этот упругий комок сейчас дойдет до ворот, крикнет: «смирно» — и все будет кончено. Он уже один только двигался среди затихших, застывших людей. Он, как укротитель, гипнотизировал солдат. Это был знакомый гипноз, и солдаты в отчаянии уже поддавались ему. Расстреляв патроны, полковник отбросил револьвер, вынул из кармана шинели другой и продолжал стрелять.

Борис следил за его ровными, уверенными жестами. И с ним случилось то, что было с ним уже на поле у остроленковского шоссе и в купе вагона, когда он одним духом выпил полную бутылку коньяку; он увидел все — и себя в том числе — со стороны. Совершенно холодно и бесстрастно он оценивал то, что происходило перед его глазами. Вот эта фигура, уже начинавшая попрежнему подпрыгивать на ходу, — не игрушка, а живой человек. Этот человек силен не сам по себе, а всей системой, в которой он необходимая и прекрасно работающая частица. Он, укрощая восставших, несет с собой все, что ненавидит Борис. Борис даже усмехнулся, поняв, что ему надо сделать. Он отделился от товарищей и пошел к полковнику. Тот увидел солдата, и дуло револьвера глянуло в лицо Бориса. Борис, нагнув голову, прыгнул к полковнику, толкнул руку с револьвером кверху. Выстрел на миг оглушил его. Затем Борис, радостно чувствуя силу в своем теле, выдернул револьвер из рук полковника и выстрелил ему прямо в лицо. Полковник упал на спину, раскинув как на картине, руки. Вместо лица у него была уже кровавая трещина. Борис обернулся к саперам и крикнул:

— За мной!

И побежал к воротам, где восторженный вопль гвардейцев встретил его. Борис вспомнил на миг, что у полковника, убитого им, есть жена — немка и сын — кадет. Кадета он однажды видел, это был краснощекий мальчишка лет пятнадцати. Борису представлялось, что мальчишка, должно-быть, очень любит бутерброды с ветчиной.

Он быстро пошел к знаменским казармам. Везде у ворот и подъездов кучились люди. Они спрашивали солдат:

— Что это такое?

Огромный волынец объяснял мужчине в картузе и драповом пальто:

— Вы говорили, что солдаты против вас. Теперь уж идите с нами, поддерживайте.

Мужчина отвечал торопливо:

— Надо дать знать на заводы.

И побежал по направлению к Литейному проспекту.

У Знаменских казарм стояла группа офицеров. Офицеры молча глядели на приближающуюся нестройную толпу солдат.

Борис прошел во двор. Под аркой жался дежурный взвод. Прапорщик, тот самый, который был дежурным офицером 24 февраля, командовал взводом: он, должно-быть, в наказание попал на эту должность. Он распоряжался негромко:

— Ближе к стене. Сюда.

И солдаты вжимались в стену, словно желая превратиться в барельеф. Борис искал среди солдат своих знакомых и увидел: Семен Пыль стремился слиться со сте-

ной. Винтовка дрожала в его руках, весь он дрожал, и бородатое лицо застыло. Глаза потеряли всякое выражение и бессмысленно глядели на Бориса. Борис сказал ему тихо:

— Херинг убит. Иди за мной.

Но Семен Пыль не сдвинулся с места.

«Убьют ни за что», — подумал Борис и пошел в роту.

В помещении роты шло, как ни в чем не бывало, утреннее ученье. Ротный и полуротный стояли посреди самой большой комнаты и следили за солдатами. Козловский командовал:

— На пле-чо! К ноги!

Как будто ничего не случилось.

Борис вошел в комнату и тронул ротного за локоть.

— Я убил Херинга, — сказал он. — Сейчас все придут сюда. Бунт.

Он увидел, как такого рода сообщения действуют на людей: ротный побледнел и осунулся так, словно вся кровь ушла из него, словно его уже проткнули штыком. Он молча пошел по коридору в канцелярию. Борис глянул на полуротного и удивился: прапорщик Стремин усмехался, как ни в чем не бывало. Потом скомандовал:

— Эй! Отойти от окон! Что вы — хотите, чтобы вас убили! Когда подойдут — все на улицу!

И он повернул прочь из помещения роты. На лестнице он вынул из кармана большой красный бант, заготовленный еще неделю тому назад, и прикрепил его к груди. Еще два бантика поменьше он вынул из другого кармана шинели и приколол к погонам. И в таком виде

вышел на улицу навстречу восставшим. Это был хоть и храбрый, но осторожный и предусмотрительный человек, не желавший погибать зря.

Ученье прекратилось Уже выстрелы и крики: «Саперы! выходи!» послышались под окнами. Тяжелые сапоги гвардейцев и сапер из Преображенских казарм загремели уже на гулкой лестнице. Рота ринулись к выходу: не к черной лестнице, а к парадной. Но на пути, в дверях, вырос огромный финн. Он, вскинув к плечу винтовку, орал неистово:

— Нельзя! Буду стрелять!

Сразу несколько штыков вонзились в него.

Финн пошатнулся, но не упал. Он раскрыл рот, чтобы еще крикнуть что-то, но вместо крика кровь брызнула у него изо рта и потекла по толстому подбородку к шее. Лицо финна страшно побледнело, глаза глядели прямо на Бориса, как будто тучный солдат хотел сказать, как тогда, ночью:

— Я должен стрелять.

Он упал, выпустил из рук винтовку, и его мертвое тело было истоптано тяжелыми сапогами ринувшихся на лестницу солдат.

Со двора по черной лестнице прибежал в роту прапорщик, командир дежурного взвода. В коридоре он прислонился к стене и стал расстегивать ворот шинели, дыша тяжело: он считал, что ему удалось спастись.

Козловский, щуря левый глаз, глядел на все происходящее. Он был доволен. Он нарочно стоял неподвижно, сладострастно отдаляя минуту наслаждения. Потом, заметив прапорщика, медленно пошел к нему. Прапорщик уже расстегнул ворот и теперь отирал чистеньким бе-

лым платком лицо: он вспотел, несмотря на холод, — так он перепугался. Козловский остановился перед ним.

— Ну, что? — спросил он.

— Ничего,—ответил прапорщик, улыбнувшись заискивающе.

Козловский выждал немного, и самая мирная дружеская улыбка раздвинула его губы. Он сказал:

— Я тебя сейчас убью.

Прапорщик хотел усмехнуться, но усмешка не вышла. Он проглотил слюну, и ему показалось, что он сейчас проглотил язык: язык был во рту совершенно лишний —сухой, толстый и ненужный. Он отвечал с трудом, совсем глупо и жалко:

— Не надо убивать.

— Не надо?—забавлялся унтер.—Подумаю. Только...

И вдруг прапорщик в отчаянии вытянул из кобуры наган. Но он не успел выстрелить — Козловский взмахнул винтовкой и тяжким ударом приклада придавил офицерика к полу. Прапорщик сел, подвернув под себя левую ногу и опустив разбитую голову на грудь, а потом свалился на левый бок.

Козловский уже не играл больше. Лицо его задергалось, как тогда, когда он рассказывал самые страшные свои истории. Он двинулся по коридору, чтоб осуществить все, что выдумала его дикая фантазия. Он убил ротного и, сбежав вниз, на улице убивал всякого офицера, который встречался ему. И казалось, что он наслаждается, убивая, что он убивает не из мести, не из каких-нибуд идейных соображений, а просто так — для удовольствия, торопясь воспользоваться теми недол-

гими часами, когда убийство дозволено и может пройти безнаказанно.

Мягкосердечного фельдфебеля погубило его грубое, совершенно не соответствующее его характеру лицо. Волынец убил его, решив, что фельдфебель с таким лицом не мог не притеснять солдат.

Когда Борис сходил по лестнице вниз на улицу, он видел, как вольноопределяющийся из студенческого взвода рвется в квартиру подпоручика Азанчеева. Пенснэ дрожало на носу вольноопределяющегося. Он ворвался в квартиру и убил подпоручика, который прятался от него по всем углам. Вольноопределяющийся был студентом-технологом второго курса. Подпоручик Азанчеев был тоже студентом-технологом второго курса.

Борис услышал, выйдя на улицу, спокойный голос:

— Теперь войне—каюк.

Он обернулся и увидел бородатого ратника. Он обрадовался тому, что Семен Пыль жив. Семен Пыль совсем уже оправился от испуга. Он, прислонив винтовку к серой стене дома, крутил цыгарку и ласково кивнул головой Борису.

По панели от Литейного проспекта шел немолодой штабс-капитан. Гвардейский солдат, проходя мимо него, задел его по лицу винтовкой и не обернулся даже. Офицер остановился и строго поглядел ему вслед. Это его движение было сейчас же замечено. И выскочивший из толпы Козловский замахнулся винтовкой, собираясь всадить офицеру штык в живот. В тот же миг Борис очутился тут. Он схватил унтера за руку и оттолкнул.

— Сволочь! — закричал он. — Ты-то как смеешь? Сам ты что делал?

Он увидел на рукаве офицерской шинели, у обшлага, три золотых полоски и сказал, обращаясь к солдатам:

— Трижды на фронте человек ранен.

У штабс-капитана прыгали губы, и он выговаривал невнятно:

— Я не знал... что у вас б-б-бес-порядки... Я на сб-сборный п-пункт... б-б-братцы...

Он никогда в жизни не заикался. С этого момента он стал заикой. Он пошел в ближайшие ворота, держась обеими руками за живот и сгибаясь так, словно в тело ему врезался уже холодный штык.

Солдаты беспорядочно стреляли в воздух. Особенное удовольствие доставляло им рвать пулями телеграфные провода. Но уже взад и вперед по Кирочной улице, носился верхом на офицерской холеной лошади вывалянный в снегу высокий, тощий подпрапорщик, напоминавший Борису белорусса, который рассказывал ему о гибели единственного сына. Он кричал:

— Направо! Все направо!

Гвардейские унтера строили солдат и командовали хрипло: «смирно», стараясь внести в движение хоть какой-нибудь порядок. И Борис видел, как его взводный покорно встал в отделение, составленное из волынцев, преображенцев, литовцев и сапер. Старый службист совсем обалдел. Он в этой новой армии мог быть только молодым, неопытным новобранцем.

Солдаты шли к Литейному проспекту. Они остановились перед казармами жандармов. Дневальный собрался было стрелять, но его вмиг обезоружили, и жандармы сдались, не сопротивляясь. Юнкера школы саперных

прапорщиков также немедленно присоединились к восставшим.

Никто не мог свернуть с Кирочной улицы в сторону, в переулки: патрули не пускали.

У здания Армии и флота остановились надолго.

Молодой волынец предложил:

— Тут живут офицеры. Может, они согласятся с нами?

Солдаты угрюмо молчали.

Борис выбирался из толпы. Выбравшись, обернулся и увидел Козловского, который сказал ему:

— Погоди. Намучаешься у меня еще.

Унтер щурил левый глаз, и тощее лицо его дергалось. А Борис думал о полковнике Херинге. И еще о том, что он только на миг повернул события в ту сторону, в которую хотел, а дальше события потащили его за шиворот, и он никак не мог бы уже управлять ими.

Он взглянул на унтера и сказал, твердо выговаривая каждое слово:

— Ты веди себя тихо. Иначе ты от меня не уйдешь— везде найду!

И он имел удовольствие увидеть на лице унтера удивление: Козловский привык к тому, что его боятся, от него прячутся, а тут человек говорит так, как-будто он, Козловский, должен бояться и прятаться. Унтер выпустил длиннейшую брань и пошел прочь. Борис понял, что этот человек при первом удобном случае убьет его.

Солдаты пришли к Литейному мосту, на Выборгскую сторону, а оттуда повернули обратно — к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума. Тут Борис протискался в первые ряды. Из белоколонного здания

вышел массивный человек. Лицо у него было полное, с мясистым носом. И хотя щетина торчала сегодня на этих всегда чисто выбритых щеках, Борис узнал все же в этом человеке знакомого ему члена Государственной думы. Он орал голосом, привыкшим к громадной аудитории и огромным толпам слушателей:

— Освобожденная революционная армия должна теперь с еще большей силой пойти на защиту родины, довести войну до победного конца!..

Борис пробрался совсем вперед, так что, когда член Государственной думы, окончив речь, оглядел солдат, он увидел и узнал Бориса. Он нахмурился, поглядев на солдата строго и угрюмо. Борис не опустил перед ним взгляда. Член Государственной думы повернулся и ушел в бессонную бестолочь, скрывавшуюся за стенами белого здания.

Борис вышел из толпы и повернул к казармам. Навстречу двигались команды солдат — к Таврическому дворцу. Во главе некоторых команд шли офицеры с красными бантиками на груди. Две роты литовцев шагали под музыку: духовой оркестр выдувал оглушительную марсельезу.

Борис свернул на Кирочную улицу. Тут было уже совсем тихо. Борис шел, не глядя по сторонам, и вдруг услышал окрик:

— Сюда!

Он оглянулся. Незнакомый поручик отделился от группы штатских — мужчин и женщин, сгрудившихся у ворот, и направлялся к нему.

— Вольноопределяющийся! Как ты смеешь не отда-

вать чести офицеру? Ты думаешь, что жиды и студенты долго будут гулять?

Борис остановился и с удивлением поглядел на офицера.

— Что вы, — сказал он,— с ума сошли? Идите домой. Ведь вас убьют.

Поручик обругался и быстро пошел в ворота. Женщина из группы штатских с ненавистью посмотрела прямо в лицо Бориса и сказала:

— Какой нахал!

— Болванье,— отвечал Борис и пошел дальше.

В роте он никого почти не нашел. Но взводный и Семен Пыль были тут.

Взводный рассказывал испуганно о том, как убивали офицеров.

Он решительно не мог понять, как это могло случиться. Офицеру надо отдавать честь, убивать его ни в коем случае нельзя. Вот теперь вся рота будет расстреляна. И он говорил, оправдываясь заранее:

— Я никого не убил. Вот, ей-богу, никого! А что я мог сделать, когда сам полуротный на улицу нижних чинов погнал? С него и спрашивайте. А я службу знаю— я старый солдат. Шестой год на военной службе состою. Кадровый.

Семен Пыль ел хлеб: он, как ни в чем не бывало, притащил из Преображенских казарм вместе со взводным три буханки. Он слушал взводного и, когда тот замолк, наконец сказал:

— Знают чудотворцы, что мы не богомольцы.

— Да ведь сколько офицеров-то убито!—воскликнул взводный.— Разве дозволено это?

Семен Пыль отвечал спокойно:

— На погосте жить да обо всех тужить — слез не оберешься.

XVI

К вечеру Борис явился домой. Труп отца, уже вымытый, в новом форменном, почти не ношенном костюме, лежал на столе в гостиной. Борис подошел к трупу, ничего не чувствуя, кроме удивления. Мать обняла его и вывела из комнаты приговаривая:

— Не надо, Боречка, не надо.

Она, очевидно, упрашивала Бориса не плакать. Но Борис и не собирался плакать. В столовой за самоваром сидели незнакомые люди: два инженера и чертежник с завода. При жизни Лаврова эти люди никогда не бывали у него в гостях. Борис удивился тому, что в такой день все-таки три человека пришли к мертвому отцу. Мать сказала ему:

— Сейчас будет панихида.

Юрий с красными заплаканными глазами подошел к Борису и ничего не сказал—просто стал рядом.

На панихиду явились жильцы соседних квартир, любители церковного пения. Когда священник возгласил «Вечную память», Борису стало жалко отца. Кто вспомнит о нет? Никто, кроме родных. Панихида напомнила ему того священника, которого вместе с лошадью разорвало на части в поле за Наревом.

После ужина все, как всегда, легли спать. Утром Борис не пошел в казармы. Он ходил заказывать гроб и колесницу. Гроб должны были доставить сегодня же, а похороны назначены были на завтра.



Анисья подала, как всегда, обед, а после обеда Борис все же побежал в батальон. Ему согласились выдать отпуск на три дня. Козловский обрадовался, узнав, что у Бориса умер отец.

Он сказал, щуря глаз:

— И ты помрешь. Вниз головой в помойку свалишься. Я б людей не хоронил, а в помойку кидал бы — пусть воняют там. Папаша-то твой попахивает уже. Приду понюхать.

— Болван!— отвечал Борис.

Козловский продолжал спокойно:

— Человек воняет хуже крысы. В помойке ему самое место.

И закричал ратнику:

— Хлеб есть?

— Бери,— отвечал Семен Пыль.

Семен Пыль уже не стягивал по вечерам с его ног сапоги. Он совершенно спокойно снял с себя эту обязанность. К смерти отца Бориса он отнесся хозяйственно. Спрашивал, сколько стоит гроб, сколько заплатили священнику. Выспросив все, покачал головой:

— Живет человек — сам себя кормит. А помрет — сколько расходов!

Козловский, жуя хлеб, снова заговорил:

— Вчера Исакиевский собор сгорел. Из камня сделан, а горел, как спичка. Это я поджег. Сегодня Казанский собор сожгу, а завтра все церкви выжгу.

Взводный подтвердил испуганно:

— Вчера церковь горела, действительно. Сам видел. Что делают люди!

Семен Пыль усмехнулся.

— Эко дело, что церковь сгорела. У нас бани горят, да и то не говорят.

Козловский продолжал:

— Государя с наследником на части разрезали: сначала руки, потом ноги, а уж самое последнее — голову. А головы-то без туловища отдельно жили (тут унтер улыбнулся даже, вообразив себе эту приятную картину). А государыню-то с дочерьми-то...

Глаза у него заблистали, и он, растопыривая пальцы, сделал руками и всем телом такое движение, которое не оставляло никаких сомнений в том, что сделали с государыней и с дочерьми.

— Самая из них красивейшая—Ольга Николаевна,— рассказывал он.— Не зря наш Гришка пуще всех ее любил. Дивизия над ней целая работала, а она все жива. Другие-то и роты не выдерживали. А Гришке — кто за революцию — памятник должен ставить. Это он, Гришка, первый есть революционер.

Борис молча слушал все эти разговоры, ожидая увольнительной записки, которую готовил писарь.

Семен Пыль сказал неожиданно:

— Хороший был человек Гришка. Зря убили.

А Козловский продолжал спокойно и деловито:

— Теперь всю Россию жечь надо, чтобы дым пошел. И мужиков жечь. Незачем они живут. Это в краткий срок исполнить можно. Губерния горит ровно день. Это уже точно, с ручательством. Мужик горит долго, как хлеб, и дым идет от него желтый. А городской человек и без спички сам сгорает. Для него и огня не нужно. Подымит Расея и провалится. На ее месте пустышка будет — дыра, а заплатать дыру никто не сможет. Кто

подойдет — хоть немец, хоть англичанин — все равно ему конец. Никто не видит, что пустышка — Расея, дыра, а тогда все увидят.

— Тебя первого пожечь надо,— сказал взводный.— Сволочь этакая.

— В семи огнях был, в семидесяти горел,— отвечал унтер.—Мне сгореть невозможно. Я последним сдохну. Сам в дыру кинусь. Только допрежь того всю Расею пожгу.

Получив увольнительную записку, Борис пошел домой. Он только теперь сообразил, что надо бы сообщить о смерти отца Жилкиным. Он позвонил из дома Наде по телефону и сообщил о дне и часе похорон. Клара Андреевна, услышав его слова, закричала совсем по-прежнему:

— Чтоб не было Жилкиных! Я их не пущу! Я их выгоню, если они посмеют притти!

Но тут же затихла: труп мужа помешал скандалу. Надо было сначала похоронить мужа, а потом уж восстанавливать свой характер. А Борис досадовал уже на себя за то, что позвонил Жилкиным: кому это нужно, чтобы они пришли?

Клара Андреевна послала испуганную Анисью в лавку за провизией. Анисья долго не возвращалась. Клара Андреевна, к которой постепенно возвращались обычные черты характера, сама приготовила ужин, приговаривая:

— Я всегда знала, что она — воровка и проститутка. Украла деньги. И кошелку украла. Юрий, где пенснэ? Посмотри—может-быть эта ведьма и пенснэ стащила.

Пенснэ висело у нее за спиной на шнурке.

— Украсть кошелку!—воскликнула Клара Андреевна.

Ей особенно жалко было кошелку, которая служила ей верой и правдой четырнадцать лет под ряд.

Она долго ругала Анисью, когда та вернулась наконец. Старуха напрасно оправдывалась тем, что очередь была длинная.

1 марта, в восемь часов утра, от подъезда дома, где жили Лавровы, двинулась к Александро-Невской лавре похоронная процессия. За колесницей впереди всех шла Клара Андреевна, которую под руку поддерживал Юрий. За ним — три инженера, два чертежника и мастер, несколько никому не известных старушек, Жилкины: отец, мать и Надя, а позади всех — Борис. Клара Андреевна с нарочитым хладнокровием поздоровалась с этнографом, его женой и дочерью. И даже слегка гордилась перед ними: в этом деле, в похоронах, никто не мог оспаривать ее центральное, главное положение.

Двигалась процессия медленно, то-и-дело останавливаясь. Борис шел, ни о чем решительно не думая и ничего не замечая вокруг, как человек, который на время лишен самостоятельности в поступках и должен торжественно исполнять неизбежный долг.

На Старо-Невском проспекте пожилая женщина присоединилась к процессии. Она перекрестилась, поохала и, громко пожалев незнакомого покойника, обратилась к Борису:

— Это кого же хоронят?

— Инженера Лаврова,— отвечал Борис.

— Такой знаменитый инженер!— вздохнула женщина, первый раз услышавшая о том, что существовал на

свете такой инженер.— А за гробом кто идет? Вот эта пожилая, сердитая?

— Это жена покойного,— объяснил Борис.

— Такая молоденькая, красивая!— пожалела женщина.— А кто ее под руку ведет?

— Сын, — отвечал Борис.

— Хороший молодой человек, — похвалила женщина.— Мать в горе поддерживает. А этот кто?

Когда Борис разъяснил ей всех, кто шел за гробом, она спросила:

— А вы кто такой будете? Сослуживец?

— Я — тоже сын покойного,— отвечал Борис.

Женщина вздрогнула, точно от удара сзади. Она остолбенело взглянула на Бориса. По ее мнению, второй сын должен был поддерживать мать с другой стороны.

— Господи, благослови,— проговорила женщина.— Тьфу, тьфу!— И пошла прочь от Бориса, как от чорта.

Борису вдруг стыдно стало и неприятно. Он ведь действительно слишком равнодушно шел за гробом отца. Но у него было столько ему самому неясного горя внутри, что он уже никак не мог реагировать на каждое отдельное несчастье. А, может-быть, просто он сухой и равнодушный человек? Но ведь он ко многому неравнодушен.

На кладбище, над открытой могилой,— снова панихида. И снова Борис пожалел отца при словах «Вечная память»: никто не вспомнит о нем, кроме родных. Клара Андреевна, когда гроб опустили в землю, упала и зарыдала так, что даже могильщик покачал головой, а Жилкин заморгал глазами, вспомнив об убитом сыне. Жена Жилкина тихо, как мышь, стояла над могилой и, казалось, ни о чем не думала. Клара Андреевна на миг опять

полностью поняла свое несчастье: ведь вот то тело, которое двадцать один год под ряд каждую ночь лежало рядом с ней в постели под одним одеялом, грело ее и дало ей двух сыновей, теперь ушло от нее навсегда в землю. А ведь это было почти что ее тело — так хорошо она знала все особенности его. И эти выдающиеся костлявые колени, на которые она так обижалась в первые месяцы замужней жизни,— они больше не вернутся к ней!

Клара Андреевна потеряла сознание. Юрий и Борис в карете отвезли ее домой и положили на кровать. Она открыла глаза и увидала выпуклые коленные чашки, обтянутые желтой, в пупырышках кожей. И рыжие волосы шли по ноге, туда, где пятка, и туда, где бедро. И Клара Андреевна снова неудержимо заплакала. И уже она не хотела понять того, что ноги мужа вместе со всем телом навсегда взяты от нее.

Борис был рад, что взял отпуск на три дня. Его помощь требовалась тут. Клара Андреевна не спала ночью. Она звала мужа, плакала и все время требовала к себе Бориса, словно в нем признавая большую силу, чем в старшем сыне, который совсем растерялся и сам плакал, как мать. Борис с удивлением заметил, что мать любит его может-быть больше, чем Юрия. Но только в несчастные минуты она рискует обнаруживать эту любовь. Борис сидел у постели матери, держал ее руку в своей, успокаивал и думал о том, что мать обычно охраняет себя, должно-быть, от любви к нему, чтобы не сойти с ума от беспокойства за него.

И как это он мог сказать тогда с вокзала матери: «ваш сын»? Он думал тогда, что ничто не связывает его

с этой женщиной, что можно так просто стать в положение чужого, на «вы». Но связь обнаружилась—животная, бессмысленная связь. Эта плачущая женщина родила его.

XVII

Приказ № 1, подписанный новым революционным правительством, уже висел над столом дежурного по роте и в канцелярии, когда Борис отправился в Таврический дворец: отыскать Фому Клешнева. Надя указала ему, где найти этого человека. Пропуск Борису тоже устроила Надя.

Трамваи уже снова развозили по городу людей. Борис не боялся теперь коменданта: он сидел на скамье внутри вагона на равных правах со штатскими.

Пройдя сад, он вошел в белое, с колоннами, здание.

Он долго искал Фому Клешнева.. Ходил из комнаты в комнату, спрашивал; отчаявшись, повернул, наконец, прочь из этой душной суеты и в саду столкнулся с тем, кого искал.

Фома Клешнев, на ходу пожав ему руку, сказал:

— Да, я вас помню.

Он уже дернулся умчаться куда-то, но задержался еще на миг, чтобы проговорить быстро:

— Я вам нужен? Сегодня ночью я буду дома. Вы зайдите. Это недалеко отсюда.

Он сообщил адрес, прибавив:

— Я думаю, что сегодня ночью я смогу быть дома. К одиннадцати часам.

И умчался. Борис заметил перемену в его костюме: пиджак был надет на рабочую блузу, штаны сунуты

были в высокие сапоги. И это молодило Фому Клешнева. Лицо его похудело за эти несколько дней, волосы были растрепаны, и щеки обросли щетиной, как у члена Государственной думы. Но совсем разные мысли и дела мешали бриться Фоме Клешневу и члену Государственной думы.

К одиннадцати часам Борис явился к Фоме Клешневу. Тот жил на Суворовском проспекте, в огромном коричневом доме. Он снимал комнату в четвертом этаже в небольшой квартирке, в которую попасть можно было только со двора. С улицы входа не было. В этой квартирке Фома Клешнев жил и перед революцией, когда он был уже секретарем Жилкина.

Молодая женщина отворила Борису дверь, сообщила, что товарища Клешнева дома нет, улыбнулась весело и предложила обождать. Она провела его в небольшую, но чисто прибранную комнату, еще раз улыбнулась и сказала, что если товарищ хочет, то она может подать ему чай. Она напомнила Борису Терезу из цукерни. Но это была не Тереза и даже не полька. Борис, улыбнувшись (нельзя было не улыбнуться, глядя в карие глаза этой женщины), поблагодарил и отвечал, что он, спасибо, чаю не хочет. Женщина поглядела на него, подумала и молвила:

— Тогда уж вам придется просто так обождать.

Она вышла из комнаты. А Борис остался ждать «просто так». В комнате были: кровать, стол (письменный и обеденный одновременно), несколько стульев и комод (у двери справа). Стены были оклеены зелеными, в цветах и полосках, обоями, и на них не было ни одной фотографии, ни одной картины. Груда книг лежала на столе

и на полу у окна. Белой простыней было занавешено то, что висело на вбитых стену крюках слева у двери; должно-быть, платья, пальто.

Часов у Бориса не было. Он думал, что не меньше часа ждет уже Клешнева, когда снова появилась в комнате незнакомая женщина.

Она спросила:

— Вам, должно-быть, скучно?

И прибавила:

— Я ужин делала. Ужасно плохой примус. Фома обязательно должен притти сегодня. Я-то не так занята — почти каждую ночь дома. Я его жена.

Борис поглядел на нее с любопытством: у Фомы Клешнева, оказывается, есть жена. А та спрашивала его:

— Вы по серьезному делу?

Борис понял, что эта женщина беспокоится за мужа: опять ему не спать. Он заговорил:

— Я могу завтра, если...

Женщина перебила быстро:

— Нет, оставайтесь, оставайтесь!

Прошло еще несколько времени, прежде чем раздался у двери звонок. Это пришел Фома Клешнев. Увидев Бориса, он слегка нахмурил брови, словно удивляясь, как это мог попасть сюда этот солдат. Потом он бросил на кровать кепку, снял пальто и хлопнул себя по лбу.

— Простите! Совсем забыл. Сам же я вас и зазвал сюда. Я сначала поем. Вы не хотите?

Борису было уже стыдно, что он, явившись с самыми неопределенными намерениями, мешает спать истомленному человеку. Он начал, вставая:

— Я лучше завтра...

— Сидите,— перебил Фома Клешнев.— Пришли, так уж сидите. Поели бы вместе, а?

Но Борис отказался: он успел уже поужинать дома.

Женщина принесла ужин: яйца, хлеб, колбасу и чай.

Поев, Фома Клешнев отодвинулся от стола и, опустив плечи, зажал коленями сложенные вместе ладони рук. Сидел так неподвижно и молчал. Его жена не уходила из комнаты, Борис понял, что они занимают в квартире только одну эту комнату, и, значит, он будет мешать спать обоим. Фома Клешнев обратился к нему, разгибаясь медленно:

— Давайте говорить.

И, выслушав Бориса, перешел к делу. Он учил Бориса, как агитировать среди солдат против войны, за немедленный мир с Германией, и перейти к революционной борьбе. Борис все его слова принимал без возражений. Жена Фомы Клешнева, полулежавшая на кровати, окончательно опустила голову на подушку и задремала. Фома Клешнев замолчал. Стало совсем тихо в комнате. И за окном — тишина. Борис понял, что надо уходить, но не мог подняться со стула: усталость одолела. Ему захотелось вдруг, чтобы все, чему учил его Фома Клешнев, не он должен был делать, а кто-нибудь другой. И вообще: чтобы кто-нибудь другой жил за него. В детстве часто бывало: лежа в траве, Борис следил за движением облака. Вот оно идет; солнце скрылось за ним; и снова солнечный свет бьет в глаза; и вот—растаяло облако. Хорошо бы так вот. как за облаком, следить за жизнью. Так достигнешь, может быть, громадной мудрости, мудрости индийского иога. А двигаться, жить, действовать — зачем?

Борис очнулся и задвигался с такой быстротой, словно из индуса превратился в англичанина, покорителя Индии. Это потому, что Клешнев взглянул на жену и сказал:

— Надо спать. Я ужасно устал. Итак, действуйте, товарищ! Действуйте смело и осторожно.

Прибавил, сощурившись:

— А ведь я знал вашего отца.

Выйдя во двор, Борис удивился тому, что уже светает. Неужели он так долго мешал спать Клешневу! И как тот не заснул на полуфразе!

Ворота были еще закрыты. Дежурный по дому отворил их, выспросив подробнейшим образом, откуда идет Борис и зачем. Направляясь к казармам, Борис думал о разговоре с Фомой Клешневым и еще о том, что он убил полковника Херинга. Правда, после того, как он сказал об этом ротному (который уж был теперь тоже убит), он ни разу никому — ни дома ни в казарме—не рассказывал об этом своем поступке. Но ведь это вполне сознательный поступок, и он ускорил присоединение саперного батальона к восставшим. Наверное во всех полках нашлись тоже вот такие люди, которые прежде других решились на такого года поступки. И не только в полках. И не непременно они именно убили,—в большинстве петербургских полков все офицеры остались в целости. Но именно такие люди, несомненно, явятся передовыми людьми революции. Борис даже загордился, но тут же с совершенной ясностью увидел мальчишку-кадета, который, должно быть, очень любил бутерброды с ветчиной, и его передернуло даже. Он понял, что из одной машины он попал в другую, которая хотя не хо-

чет, но вынуждена так же рубить и резать, как та, прежняя. И он опять — всего только один из многих добровольцев в этом новом деле. Но Фоме Клешневу, одному из тех, кто направлял ход этой машины, он уже верил вполне. И опять показалось ему все вокруг необыкновенно интересным и полным движения. И ему захотелось снова стать настоящим мастером жизни. Пусть мальчишка-кадет дожевывает свои бутерброды. К чорту! Он, Борис, не мог не убить полковника Херинга: ведь тот, усмирив, расстрелял бы больше, чем одного человека. Успокоив так свою совесть (которая, впрочем, и без того не слишком восставала), Борис вошел в подъезд казармы.

Дежурным по роте был Семен Пыль, а дневальным — молодой солдат. Дневальный расспрашивал ратника о приказе № 1: что он обозначает и можно ли верить?

Семен Пыль отвечал неопределенно:

— Смотреть лестно, а жить как — неизвестно.

Борис остановился и, прислушавшись, вступил в разговор. Он начал тут же разъяснять дневальному этот приказ: он торопился приступить к исполнению новых своих обязанностей — агитатора.

Семен Пыль, усмехаясь, слушал его, и когда Борис ораторствовал уже о борьбе с помещиками и о счастливом социалистическом будущем, ратник махнул досадливо рукой и отвернулся. Все эти слова были для него то же, что и речи о войне до победного конца. Дневальный ничего не понимал и глядел вопросительно на ратника: как отнестись к этому? Не верить?

Семен Пыль сказал Борису угрюмо:

— На одно солнце глядим, а по-разному едим.

Борису стыдно стало, что он, как мальчишка, разо-

шелся в неурочный час и в неурочном месте и наговорил столько ненужных слов. И, желая поправить дело, он сказал:

— А войну кончать надо. Это сейчас прежде всего.

— Это так, — добавил Семен Пыль. — Войне каюк пришел. Только она сама кончится (как будто все события происходили сами собой, независимо от людей).

Борис поглядел ратнику в бороду и пошел в помещение роты, где просыпались саперы.

XXVIII

Смерть отца в самые нужные дни увела Бориса домой. Борис не попал ни в Совет рабочих и солдатских депутатов, ни даже в батальонный комитет.

Временный комитет Государственной думы агитировал за продолжение войны, и к нему присоединилось большинство членов Совета рабочих и солдатских депутатов.

Козловский ехидно улыбался:

— Война двадцать лет будет. Это уж точно, с ручательством.

И Борису казалось, что он прав. Казарменная жизнь восстанавливалась. Возобновлялось учение.

8 марта Борис был назначен ночным дневальным у ворот. Он похаживал от стены до стены под аркой, потом вышел на улицу и сел на тумбу, положив винтовку на колени. И без всякой причины припомнился ему давний случай.

Новгородская губерния. Деревня. Сорок восемь верст от уездного города, где железнодорожная станция. Кру-

гом — леса и болото. Озеро. Борису — восемь лет. В этом озере он научился плавать. Он хорошо плавает и может долго пробыть под водой. Островок посреди озера. На этот островок Борис часто отправляется на лодке. Плещет вода. Хорошо...

Раннее утро. И вдруг выстрел будит Бориса. Он вскакивает с кровати. Натянув синие штанишки, бежит на двор. Там стоит мужик. Он держит ружье за дуло, как палку,— прикладом оземь, а в правой руке у него — мертвая птица. Кажется, самая обыкновенная ворона. Утро дымится, и пахнет так, что вскрикнуть хочется от радости. Хорошо!

Собирать сено на возы. Захватив вилой огромную охапку, нести. Вся голова — в сене. За рубашкой щекочет и колется. Это Борис умел, а косить не умел.

В деревенском лабазе — толстые банки с разноцветной карамелью. Там же хлеб, совсем особенный, такой вкусный, какого нет в городе. Мягкий, жаркий ситный хлеб.

У лабазника Борис купил цыпленка, черного, маленького, совсем как воробышек. Цыпленок вырос. Ему отрубили голову, ощипали, выпотрошили, зажарили.

И вот случай: он сидит у окна и видит — Ольга, дочь хозяйки дома, в котором живет Борис, идет по полю, в лес. Должно быть, за грибами. Она идет одна. Борис ждет, чтобы она вспомнила про него: она всегда с ним ходит в лес. Но она не вспомнила. Борис неподвижно сидел у окна. Полчаса, час. Вот снова появилась в поле Ольга. Она возвращается. Она принесла букетик ландышей и больше ничего. Борис не обернулся, когда она вошла в комнату,— остался сидеть лицом к полю. Ольга

положила цветы на стол и вышла, должно быть, за стаканом с водой, чтоб поставить цветы. Борис вскочил и, схватив ландыши, разбросал их по комнате. Шаль ольгину закинул под кровать, в пыль. Ольга вернулась со стаканом воды, увидела все, что натворил Борис, и не сказала ничего. Взяла веник и молча вымела ландыши на двор. Борис сам достал ее шаль из-под кровати. Он так и не сумел разъяснить тогда, что он все это от любви. Ольга уверена была, что он просто пакостный мальчишка. Ужасно трудно разъяснять причины. Если причина другому человеку совершенно непонятна, или если, по мнению другого человека, причина эта ведет не к такому вот поступку, а к совершенно другому,— то спорить бесполезно. Надо действием доказывать правильность мысли или чувства, или ждать, когда тот, другой человек, сам наткнется на то же, что научило первого. И разве не на этом строится политическая борьба, да и вся жизнь? Теперь Борису двадцать лет. Та кровать, в которой он спал в Новгородской губернии, ему теперь в полроста. И он должен уже отвечать за свои поступки и добиваться того, чего он хочет. И он убил пожилого человека, у которого жена — немка и сын — кадет.

Так бессистемно и путанно вспоминал и рассуждал Борис сам с собой.

К воротам подошел со двора Козловский. Щуря левый глаз, закричал с ненавистью:

— Ты до какого часа дежуришь?

— До двух часов ночи,— отвечал Борис, поднимаясь с тумбы.

— Сейчас половина второго,— сообщил унтер и прибавил:— тебе на Конюшенную? Ты домой пойдешь?

— Да.

Унтер повернул обратно во двор.

«Чего это он?» — подумал Борис и вспомнил сцену у здания Армии и флота.

Все эти дни Козловский обращался с ним вежливей, чем с другими солдатами, но в этой вежливости было больше ненависти, чем в самой крепкой брани.

В два часа ночи Бориса сменил на посту следующий дневальный. Оставив в роте винтовку, Борис отправился домой. Оглянувшись, он увидел, что Козловский идет вслед за ним. Длинная синяя шинель Козловского не была опоясана ремнем. Он шагал, сдвинув невысокую, мягкого меха папаху на темя. Папаха была совсем новая, не тронутая молью и временем. Она появилась на голове унтера с 27 февраля — должно быть перекочевала с разбитой головы офицера. Борис ускорил шаг. Козловский держался за ним все на том же расстоянии, не укорачивая и не удлиняя его.

«Если он свернет за мной по Литейному,— подумал Борис,— то значит, это он специально за мной».

И когда унтер двинулся ло Литейному туда же, куда и Борис:

«Посмотрим у Пантелеймоновской».

Козловский свернул и на Пантелеймоновскую улицу.

У Лебяжьего канала Борис замедлил шаг. Не пойти ли по Садовой? Но зачем? Неужели он струсил? И Борис пошел по Марсову полю вдоль Мойки. Петербург таял. Грязь, смешанная со снегом, хватала за сапоги. Земля мякла там, где не было булыжника.

Козловский догнал Бориса и пошел рядом с ним. И когда широчайшая тьма Марсова поля окружила их,



он дернул Бориса за плечо, повернув к себе лицом и остановив его. И тут Борис сообразил, что унтер гораздо сильнее его, и что, конечно, надо было свернуть по Садовой к Невскому. Какое глупое бахвальство привело его теперь к полной безнадежности? Этот человек, который кривил рот и щурил глаз, недоступен никаким чувствам жалости. Он сам — та дымящаяся дыра, про которую он говорил в казарме. И теперь Борис должен был глупейшим образом погибнуть по собственной же вине. Это прямо походило на самоубийство.

XIX

Борис рванулся и побежал. Сапоги вязли в оттаявшей земле: шинель, надетая не в рукава, а только накинутая на плечи и застегнутая на верхний крючок, развевалась на бегу, как плащ, подставляя грудь и шею Бориса сырому ночному ветру, дувшему с Невы. Борис бежал, не переводя дыхания и не оглядываясь. Он вздрагивал, ожидая, что вот-вот хватит его за полу шинели неумолимая рука: он не сомневался в том, что Козловский гонится за ним.

Борис задыхался, в ушах у него звенело, и фонари Троицкого моста прыгали и дрожали перед ним, то расплываясь огромными желтыми пятнами, то раздробляясь и сужаясь в мириады малюсеньких точек. И вдруг здание обозначилось в темноте. Борис узнал этот дом: то было здание шведской миссии. Трамвайные столбы заворачивали тут к Троицкому мосту с обрезка Миллионной улицы, упершейся в Лебяжий канал; фонари освещали путь; справа — здание, полное людей и с дежурным у ворот, слева — громада домов Миллионной и Царицын-

ской улиц. Тут пахло человеком, не уничтожающим, а родящим, строящим, спасающим. Крик Бориса будет услышан тут.

Борис перешел с бега на шаг, остановился и оглянулся, ожидая увидеть или услышать унтера. Все было тихо и спокойно позади, на Марсовом поле. Козловского не было ни видно, ни слышно. Борис обождал немного, но высокая фигура в офицерской мягкой папахе и незатянутой ремнем синей шинели не показывалась. Борис вглядывался в темноту и прислушивался. Он восстановил в памяти всю сцену с Козловским: как тот рванул его за полу шинели и остановил. Показал ли он хоть чем-нибудь, что хочет убить Бориса? Нет. Почему же Борис побежал от него? Может быть, он напрасно испугался?

Борис хотел уже, чтобы сейчас, немедленно же унтер появился перед ним и этим оправдал его смертный ужас и этот сумасшедший бег через Марсово поле. Но Козловский исчез: не видно, не слышно его. Злобно закусив губу, Борис шагнул обратно, к Мойке, и пошатнулся: ноги отказывались двигаться, сапоги тянули к земле. Шинель давила плечи, плечи невыносимо ныли, а сердце задыхалось в груди.

Борис скинул шинель с плеч наземь, повалился ничком, закрыл глаза и стал дышать. Он дышал сначала часто и коротко, потом все глубже и реже.

Наконец поднялся на ноги.

— Я — трус,— сказал он и зажмурился от стыда.

Открыл глаза и, глядя в темную ширину Марсова поля, удивлялся, как это он мог пробежать такое большое

пространство без передышки? Как сердце у него не лопнуло? Как ноги донесли? Он накинул на плечи грязную, сырую шинель и двинулся к Миллионной улице. Задумавшись он пропустил нужный переулок, и ему пришлось дать крюк через Дворцовую площадь.

Дома дверь ему отворил Юрий.

Борис объяснил кратко:

— С дежурства.

И пошел к себе. Разделся, лег и сразу же заснул.

Он проснулся в час дня. По правилам, ему следовало явиться в казармы на вечернее учение, но он и не подумал сделать это: он и прежде нарушал это правило, а теперь, в революцию, смекать стало и совсем просто.

Клара Андреевна чистила на кухне его шинель.

Спросила, когда Борис пошел мыться:

— Где ты так вывалялся?

— Упал,— кратко объяснил Борис.

Клара Андреевна не расспрашивала подробнее. Она вообще очень осторожно обращалась последние дни с Борисом: она собиралась, продав все, отправиться к сестре в Киев, на сытую, спокойную жизнь. Юрий соглашался уехать с матерью из Петербурга, а с Борисом Клара Андреевна еще не говорила. Она боялась, что Борис по обыкновению не подчинится ей. Не то что будет спорить, возражать, а просто не поедет, обнаружив лишний раз полное свое равнодушие к родным. О том, что Борис связан военной службой, Клара Андреевна не беспокоилась. Она была твердо убеждена в том, что батальонный командир отпустит Бориса: Клара Андреевна сама пойдет в казармы и разъяснит там, что Борису гораздо лучше и сытнее будет жить с матерью в Киеве,

чем в Петербурге одному. Этого нельзя не понять—и Бориса отпустят.

Борис был сам себе противен после вчерашнего. Никогда еще он так не пугался, никогда смертный ужас не гнал его так от человека, как вчера от Козловского. А ведь унтер—человек, такой же, как и Борис, только совершенно изуродованный войной.

Весь вечер Борис прошатался по улицам, зашел к Жилкиным, но посидел там недолго: скучно стало и тоскливо К ночи он пошел в казармы. Свернув на Кирочную улицу, он замедлил шаги. Он даже чуть не повернул домой, но тут же удержал себя:

— Что же это — я опять трушу?

Борис не страдал излишком воображения. Он не пытался представить себе заранее встречу с Козловским. Выпрямившись и подняв голову, он быстро приближался к казарме.

Однажды, на фронте, во время отступления полк Бориса остановился на полдня в небольшой деревушке. Усталые солдаты не успели еще разлечься по халупам, как немецкие снаряды погнали их дальше, не дав отдохнуть. Снаряды летели оттуда, откуда и не предвиделось совсем.

Страшные слова: «прорвали! окружили!» ни у кого еще не сорвались с языка, но они были написаны на бледных, нахмуренных лицах и чувствовались в торопливых, но пока еще не беспорядочных движениях. Но вот снаряд разорвался посреди улички, повалив наземь двух солдат и лошадь. Третий солдат, стоявший тут же, застыл на миг, а потом кинулся стремглав прочь. Он бежал, крича:

— Окружили!

Еще секунда — и все в беспорядке разбежится, разлетится во все стороны. Солдат наткнулся на Бориса и чуть не сбил его с ног. Борис схватил его за плечи.

— Как тебе не стыдно?

— Стыд глаза не ест,—нагло отвечал солдат, прямо глядя в лицо Борису. Это был еще совсем молодой новобранец.

Да, стыд глаза не ест.

Борис решил, если понадобится, прямо сказать Козловскому, что он вчера струсил.

Струсил — и все тут, и это никому не важно и никакого значения не имеет. Так лучше, чем врать, оправдываться или молчать, краснея.

Он поднялся по лестнице, толкнув дверь, в прихожей поздоровался с дежурным по роте и пошел к своему месту на нарах. Услышал голос:

— Не умер вчера?

К нему медленно приближался Козловский.

Козловский остановился перед ним, усмехаясь. Обернулся к саперам, которые перед сном сидели на нарах, потягивая чай и жуя хлеб:

—Глядите, ребята,— герой!

Солдаты прислушались. Козловский продолжал:

— Подхожу это я к нему, как к человеку,—потолковать. А он от меня — стрекача. Много видал бегунов, а чтоб так человек бегал — первый раз вижу.

Он прибавил несколько презрительных слов, сунув руки в карманы штанов и глядя прямо в лицо Борису.

Борис не нашелся, что ответить. Он не смог перед всей ротой признаться в том, что струсил вчера. Он со-

вершенно растерялся: ему все-таки было всего только двадцать лет. Случилось именно то, чего он боялся: он молчал, краснея. Все мысли и слова ушли от него. И когда он совсем погибал от стыда, решимость внезапно восстановилась в нем. Вскипев вдруг, он заговорил:

— Я думал, что ты хочешь убить меня. Раз в жизни человек может испугаться, если к тому же устал. Я на войне был—не боялся. Ранен был. Ни умирать, ни убивать я не пугаюсь,—продолжал он, замечая с удивлением, что стиль его обычной речи почему-то изменился.—Я вчера замучился и силы потерял. Это может со всяким случиться. А кто Херинга убил? Это я из кучи вышел и один на один Херинга убил.

— Верно,—неожиданно подтвердил один из солдат.—Я был с ним, видел.

— Вот!—обрадовался Борис—Только нельзя людей зря губить, как ты! Нельзя это! Надо за дело бороться!

Тут Борис даже ударил себя в грудь: этого потребовала последняя фраза.

— Надо...

— Хвастаешься,—перебил Козловский и, прищурив левый глаз, закричал: — На вечернее учение чего не явился? Я тебе покажу революционную дисциплину! Принимай наряд!

И пошел прочь от Бориса.

Внеочередной наряд Борису нести не пришлось. Он маялся всю ночь, а к утру еле поднялся с нар. Тело его горело, а голова была — как котел, в котором Клара Андреевна парила белье. Все же он пошел на учение. Но, выйдя на улицу, он тут же, у ворот, выронил из рук

винтовку, хотел поднять ее, нагнулся и упал сам: отдых на сырой земле Марсова поля не пропал даром.

Дневальный отвел Бориса в околоток. Там Борис пролежал двое суток, а затем был отправлен в Николаевский военный госпиталь. Дежурный врач назначил его в палату чахоточных, не разобрав как следует, чем болен солдат. В этой палате ежедневно умирало по два, а то и по три человека. Сюда клали только безнадежных. На табурете, у изголовья кровати Бориса, стояла баночка с широким горлышком, в которую Борису велено было сплевывать мокроту. Мокрота была отдана на исследование, и туберкулезных бацилл в ней найдено не было. Тогда Бориса перевели в соседнюю палату. Тут было веселей, потому что люди тут не умирали. Кормили зато хуже: умирающих утешали пожарскими котлетами, а в веселой палате изо дня в день давали гречневую кашу.

Через две недели Борис уже ходил по палате. Температура у него приближалась к нормальной. Он ждал назначения на комиссию. Скучая, он читал листы с историями болезней. Однажды, просматривая историю болезни одного из лежавших в палате солдат, Борис узнал, что этот человек болен сифилисом. Это ему не понравилось. Сестра, к которой он обратился, объяснила ему, что тут таких двое: в венерическом отделении мест нехватает. Борис, припомнив женщин, которых он пустил однажды в казарму, и жизнь солдат в Полесье, подумал, что и он легко мог бы оказаться на положении этих двоих.

Два раза в неделю, а к тому времени когда Борис стал выздоравливать, и реже, — являлись к нему на прием то мать, то брат, то Надя. Однажды пришел Жил-

кин. Помигал глазами растроганно, оставил несколько книжек и ушел, позабыв на кровати перчатки.

Борис уже назначен был на комиссию, когда однажды, в приемный день, в палату пришел Козловский и, завидев Бориса, прямо направился к нему. Он пожал Борису руку и сообщил:

— Проверил. Ты убил Херинга. Это хорошо.

Уселся на кровать и потребовал, чтобы Борис рассказал ему во всех подробностях, как это он убил батальонного командира. Борис рассказал. Козловский слушал, кивал головой одобрительно и приговаривал:

— Всегда так поступай.

Потом стал рассказывать Борису о том — кого, как и за что он убивал. Борису казалось: от слов Козловского идет густой отвратительный запах гноя, знакомый Борису еще по лазарету в Острове, Ломжинской губернии. Унтер гниет, смердит, отравляет воздух и пищу.

Бориса затошнило: отвращение охватило его; он уже не мог глядеть на унтера. А тот говорил:

— Я тебя тогда на Марсовом действительно убить собрался. Если б ты не удрал — убил бы. Очень я жалел, что прямо ты из-под руки вывернулся. Погнался было, да бросил: больно ты шибко бегаешь.

Когда он ушел наконец, Борис скинул халат и лег под одеяло. Одеяло было серое, мышиного цвета.

Все изуродованное и убитое в эти годы лезло Борису в голову. Однажды, еще в первые дни пребывания его на фронте, рядом с ним в окопе был ранен солдат: осколком снаряда ему разбило руку. Солдат заплакал, приговаривая:

— Чем же я работать буду, братцы!

Борис тогда чуть не рассмеялся: как можно плакать от раны! Как не стыдно! Солдат плакал не от боли. Борис не понимал тогда, что для этого человека, мирного сапожника, солдатская одежда — такая же трагическая случайность, как и вся война. Он был чужд войне, он жил совсем не для войны, он ненавидел войну,—и вот его забрили, погнали и теперь превратили в инвалида.

«До чего не свободен человек в своих поступках,— думал Борис.—Я совсем не хочу убивать, мне противно это, и вот я должен был убить Херинга. И еще раз убил бы, если бы встретился».

Через три дня Борис был назначен на комиссию. Он получил отпуск на шесть месяцев.

Одеваясь Борис думал о солдате Назарове, который в первый же день по прибытии на фронт записался к врачу. Назаров притворялся больным, изобретая самые разнообразные болезни: то у него грудь болит, то в пояснице ломит, то в ухе воспаление. Он каждую неделю регулярно являлся к врачу, а врач неукоснительно гнал его обратно в строй. Солдат понял, что ему отсюда не вырваться. Тогда он совершенно изменился. Он стал напрашиваться на самые опасные дела, в самые опасные места. Он ничего больше не боялся, словно был уже убит и никакая смерть не могла страшить его. В короткое время он заслужил два серебряных креста, и все ждали, в каком бою он заслужит третий—деревянный. Да и сам он, казалось, ждал этого третьего креста с нетерпением. Борис присутствовал при том, как воскресал, возрождался этот человек. Осколок снаряда засел у него в бедре, не задев кости. Когда санитары понесли его по ходу сообщения в тыл, он плакал не от боли, а от радости: да-

внишняя мечта его осуществилась; теперь врач обязан был эвакуировать его.

Это вспомнилось Борису просто так—ни к чему.

Из госпиталя Борис отправился домой.

Клара Андреевна обрадовалась, узнав об отпуске сына.

— Теперь ты хоть раз в жизни должен послушаться,— сказала она умоляюще.— Мы едем в Киев к тете Тане: я, ты и Юрий.

— Почему? — удивился Борис.

— Потому что... — отвечала Клара Андреевна взволнованно.— Ты не должен спорить с матерью. Мать думает прежде всего о тебе. Тебе надо отдохнуть, потолстеть, ты же совсем отощал. Ты бы знал, как выглядишь! Да ты просто с ног валишься—разве я не вижу! У тебя чахотка. У тёти Тани ты отдохнешь. Тебя может спасти только Киев. Неужели я уже не могу беспокоиться о собственном сыне?

Борису жалко стало мать. Он сказал:

— Хорошо, мама. В крайнем случае, сначала поезжай ты с Юрием, а потом и я приеду.

— Ну, значит, мы через неделю и отправляемся! — воскликнула Клара Андреевна.—Я уже все вместе с квартирой продала — и мы едем.

Вечером Борис был у Жилкиных.

Народу толпилось в квартире много. Во всех комнатах табачный дым и громкие голоса всякого рода деятелей. Тихая, как мышь, старушка Жилкина неслышно двигалась по квартире, подбирая окурки, придвигая стулья к стенам и вообще стараясь внести хоть какой-нибудь порядок в эту шумную и бестолковую суету.

Надя увела Бориса к себе. Борис почему-то вспомнил, как она плакала на Каменноостровском. Он сказал ей об этом, прибавив:

— Почему это ты тогда?

Надя густо покраснела — даже в уши и в шею бросилась кровь, но ничего не объяснила.

— Я хочу говорит о тебе,— начала она.— Ты ужасно выглядишь, тебе нужно поправиться. Я могу устроить тебя даром в санаторию. Прекрасная санатория. Это за Выборгом, на станции Кавантсаари. Хочешь — живи там месяц, хочешь — неделю, хочешь — два месяца: твоя воля. Если согласен — ты мне скажи, и через неделю можешь ехать.

Борис действительно нуждался в отдыхе и поправке. Он и сам понимал это.

— А каким образом даром?— спросил он.

— Хозяйка санатории—моя хорошая знакомая. Очень милая. Так согласен?

— Это мне нравится,— отвечал Борис.— Мама меня тащит на Украину, но Финляндия ближе, Финляндия— это хорошо.

Надя заговорила торопливо:

— Только ты маме лучше не рассказывай: она меня не любит и запретит. Ты скажи, что тебя отправляют в военный госпиталь, что ты обязан ехать.

Борис пожал плечами.

— Так ты согласен?— добивалась Надя.

— Согласен.

— Наверняка?

— Наверняка.

— Так я сейчас же пишу письмо. Только смотри—не обмани, а то неловко будет.

Борис встал, пошагал по комнате и спросил опять:

— А все-таки почему ты плакала тогда на Каменноостровском?

Надя озлилась вдруг:

— А тебе какое дело? Я тебе не обязана обо всем докладывать.

Это было совсем не похоже на нее: кричать и сердиться. Борис замолчал.

Когда он ушел, Надя вытащила из-под подушки конверт, из конверта — пачку денег и стала считать. Считала она чрезвычайно внимательно, шепча тихо:

— Десять, пятнадцать, восемнадцать...

При этом она, выпячивая нижнюю губу, облизывала ее после каждых трех цыфр языком.

Просчитав деньги, она задумалась: на сколько хватит? Она уже давно откладывала деньги, не зря, а на определенное дело. Она берегла их на свадьбу и первые месяцы жизни с мужем, а мужем должен был быть Борис. Часть этих денег она должна была отдать теперь хозяйке той санатории, которую она выбрала для Бориса. Хозяйка была, конечно, совсем незнакома ей. Надя все соврала Борису и теперь задумалась: для чего она соврала? Ответ был ясен: для того, чтобы Борис не отказался. Значит, она это делает только для Бориса? Ей, ее планам никакой пользы от этого? Но ведь Борис должен когда-нибудь догадаться, подумать о ней! Не о деньгах догадаться, а о том, как она любит его! И Надя заплакала, держа пачку денег в руке. Она плакала тихо, чуть-чуть всхлипывая, так же, как тогда на Каменноостров-

ском. Она ведь тогда на Каменноостровском плакала только оттого, что Борис пошел домой, даже не попытавшись разыскать ее. Он ее не любит. Косы вздрагивали на спине Нади.

Через неделю Борис провожал мать и брата на вокзал. Квартира со всей мебелью была передана уже новым хозяевам. Анисья получила отставку. Борису была оставлена на время одна комната.

Клара Андреевна всю дорогу повторяла:

— Значит, через месяц я тебя жду.

После второго звонка Борис поцеловал мать и брата и вышел на платформу. Третий звонок Плачущее лицо матери показалось за окном и поплыло вправо.

Еще через три дня Борис отправился в Финляндию, в Кавантсаари. Надя сама ездила к хозяйке, заплатила ей пятьсот десять марок за месяц вперед и попросила не говорить ничего новому пансионеру о том, кто платит за него. Хозяйка согласилась представиться надиной приятельницей и убедить Бориса, что он живет в санатории даром. Ей даже понравилась вся эта интрига.

XX

Маленькая саврасая лошаденка живо доставила таратайку с Борисом к пансиону «Мон-Репо». От станции Кавантсаари до «Мон-Репо» было не больше трех верст. Финн молча принял плату и погнал таратайку обратно на станцию; за всю дорогу он ни слова не сказал Борису.

Большая двухэтажная дача, выкрашенная в кирпичный цвет, с вывеской «Мон-Репо» над террасой, выстроена была на гребне холма. Крутым склоном холм спускался к большому озеру; сад окружал дачу; меж

сосной, елью и березой рос жесткий, колючий вереск; воздух был сух и прозрачен.

Хозяйка пансиона вышла навстречу новому пансионеру. Она скосила глаз на солдатский вещевой мешок, который заменял Борису чемодан, но тут же изобразила улыбку на своем хоть и широком, но суховатом лице и пригласила Бориса в дом. Она провела его в назначенную ему во втором этаже комнату. Кровать, комод, соломенное кресло, деревянный стул, коротенькая кушетка и умывальник были поставлены тут для Бориса. Борис умылся с дороги, надел чистое белье и выглянул в окно. Отсюда виден был противоположный берег озера; там—то же, что и на этом берегу: сосна, ель, береза.

— Хорошо,— сказал Борис.

Звон колокола позвал его к обеду.

В столовой за большим столом сидели пансионеры. Борис обрадовался, увидев, что их не так много: полная дама с двумя детьми — мальчиком и девочкой, еще одна дама — молоденькая и худая, еще дама с простоватым лицом, поправлявшая бант в волосах сидевшей рядом с ней чрезвычайно толстой девочки («должно-быть, бонна»,—подумал Борис), и только один мужчина—с черными усами и глазами, невысокий и настолько живой, что никак не мог усидеть на стуле. Он все время беспокойно двигался и ворочал головой, переводя взгляд с одного лица на другое. Он уставился на Бориса, чуть только тот вошел в комнату. Заложив левую руку за борт синего пиджака, он, слегка нахмурив густые черные брови, внимательно оглядел Бориса с ног до головы. Гимнастерка без погон (штаны были на Борисе штатские), видимо, удивила его. Склонив голову к левому

плечу, он разглядывал Бориса с некоторым сомнением.

Хозяйка указала Борису место за столом—между бонной и молоденькой дамочкой. Усатый мужчина сидел рядом с бонной. Он все еще глядел на Бориса, как бы оценивая этого человека: что он стоит и как отнестись к нему. Наконец, он обратился к Борису:

— Вы сегодня прибыли? Позвольте познакомиться — Беренс.

— Лавров,— отвечал Борис.

— Ландрин? — обрадовался усач.

— Нет, Лав-ров,— четко произнес Борис.

— Лавров?— огорчился мужчина, взял со стола салфетку, распустил ее у себя на коленях и снова уставился на Бориса.— Я тоже некогда был офицером.

— Да?— вежливо поддержал разговор Борис и принял тарелку с супом; хозяйка уже разливала суп, и горничная разносила налитые тарелки.

— Вы — артиллерист или кавалерист?—продолжал расспрашивать усатый мужчина.

«Чего он ко мне пристал?» — подумал Борис и отвечал: — Сапер.

— Ах, сапер?

Тут усач, отложив ложку, потер даже руки. Потом вновь принялся за суп. Уже не глядя на Бориса, сказал успокоенно:

— Значит, вы — саперный офицер?

— Нет, солдат,— поправил Борис.

— Солдат?

И мужчина замер с ложкой, не донесенной ко рту. и лицом, обращенным к Борису.

— Солдат?— повторил он.

Хозяйка пансиона, не понимавшая, почему это господин Беренс пристал к новому пансионеру и не сочувствовавшая этому, постаралась сбить разговор, вернее — интонацию, которую принял по отношению к Борису господин Беренс.

— Ах, это ужасно, когда образованный, культурный человек солдатом попал! — воскликнула она.

Полная дама вздохнула и сказала с таким невероятным, почти утрированным акцентом, что Борис чуть не фыркнул:

— Да, очинь ужясно.

Хозяйка пансиона, начавшая уже угадывать мысли господина Беренса, прибавила, обращаясь к Борису:

— Я знал вашего отца. Это был образованный, культурный человек и очень большой инжженер. Мой хороший подруга, ваша сестра, говорил мне, что вы — студент (она произнесла: «штудент»).

Борис не успел ответить ей. Господин Беренс задвигался, заулыбался, даже махнул рукой — и все это с таким оживлением, что стул заскрипел.

— Ваш отец — инжженер? — заговорил он. — Я тоже инжженер. У меня завод под Петербургом. Ко мне солдаты ворвались. Я к ним навстречу (он сделал внезапное ударение на последнем слоге — должно-быть от волнения) с револьвером (тут он ударил на второе «е»). Они меня хотели убить. Меня! Без меня нет завода, нет!

Усатый мужчина резнул ладонью по воздуху, изображая гладкое место.

— Завод без меня станет! Рабочие будут голодать!

— Господин Беренс очень волнуется, — пояснила хозяйка (громкий голос усача потребовал ее коммента-



риев).— Ах, это ужасно, когда на образованного, культурного человека так грозят.

— Терпеть не могу солдат,— заключил господин Беренс.— Если бы не они — ничего бы не было. А теперь очень трудно работать. Когда я узнал, что вы солдат, я был очень недоволен. Но ваш отец инженер. Мы будем друзьями. Га!

Тут он с такой силой стукнул себя по лбу, что полная дама вздрогнула, а молоденькая почему-то глянула на пол: ей, кажется, представилось, что череп господина Беренса слетит сейчас на пол и разобьется на мелкие осколки.

— Га! — воскликнул господин Беренс. — Инженер Лавров! Я знал инженера Лаврова — он работал на...

Он назвал завод, на котором действительно работал отец Бориса.

— Он умер, инженер Лавров!—радостно восклицал господин Беренс.— Я знал его! Он умер!

Сообразив смысл того, что он говорит, он мгновенно заменил радостные интонации самыми печальными. Он сказал Борису тихо, с глубокой грустью:

— Ваш отец умер. Это огромная потеря для страны. Мы с вами — друзья.

Совсем успокоившись, он приступил к жаркому. Борис удивлялся: почему то обстоятельство, что господин Беренс знал отца, успокоило его в отношении сына? Но он не возражал.

Застольная беседа продолжалась. Полная дама ровным, без всяких интонаций, голосом говорила о себе. Понемногу выяснилось, что этой даме принадлежит чуть ли не половина Лифляндии. Она не хвасталась этим, а

жаловалась: столько хлопот! Она так счастлива, что хоть на месяц вырвалась на волю!

После обеда молоденькая дама, вся зашевелившись, спросила Бориса:

— Вам нравится Финляндия?

И пошла в гостиную.

— Нравится,—отвечал Борис, принужденный для ответа последовать за ней.

— Правда, очень красивые места?

— Да...

Борис ничего, кроме этого «да», не мог придумать.

— А какой воздух! Настоящий горный воздух!

Дамочка опустилась на диванчик и указала Борису место рядом с собой.

— Да,— согласился Борис,— воздух...

Он был смущен и не знал о чем говорить. Ему хотелось к себе в комнату. Дамочка глядела на него с ожиданием. Господин Беренс, заложив руки в карманы, подошел к нему, ворочая головой, выпячивая грудь и петушась неопределенно: обед на него всегда действовал возбуждающе.

Борис, собравшись с духом, продолжал:

— Воздух дивный («откуда взялось у меня это слово?» — подумал он с удивлением). Роскошный воздух. После Петербурга — чудесно. Вы знаете — в Польше тоже замечательный воздух. Я в Польше провел полгода, на фронте.

— Вы были на фронте! — воскликнул господин Беренс.— Ну, что же — это красиво? Блеск, грохот — это феерия! Как замечательно описан Бородинский бой у

Толстого! Гениальный писатель! Великий писатель земли русской! Ах, я влюблен в войну!

Господин Беренс был гораздо умнее своих слов. Он нарочно надевал на себя в обществе маску жизнерадостного простака: ему так легче было направлять разговор по желательному руслу

Дамочка брезгливо поморщилась.

— Нет, это ужасно. Я ненавижу войну.

Борис стал рассказывать· Он рассказывал о том, как он был ранен. Дамочка вздыхала, качая головой, и морщилась. Господин Беренс изображал на лице чрезвычайное внимание. Рассказывая, Борис, сам того не замечая, приноравливался к своим слушателям. Он представлял все в несколько героическом, романтическом виде. Он давал реалистических описаний ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы рассказ не оказался пошлым. Это было понято и оценено слушателями.

Господин Беренс промолвил, когда Борис кончил:

— Ваш отец был, должно-быть, горд своим сыном. Вы вели себя прекрасно. Почему вы не носите свой крест?

Затем господин Беренс неопределенно махнул рукой и удалился к себе.

Борис тоже поднялся с кушетки, чтобы удалиться. Дамочка протянула ему руку для поцелуя. Борис поднес руку к губам, поцеловал, успел заметить розовые отполированные ногти и хотел уйти. Дамочка (Борис ясно почувствовал это) чуть сдавила его руку. Борис взглянул на нее и встретился с очень серьезным и упорным взглядом. Так глядела в Острове на Бориса Тереза. Борис еще раз поцеловал руку дамочке и вышел.

У себя в комнате он прилег на кушетку. Подумал: а как бы повел себя в этом обществе Фома Клешнев? И решил: вежливо и равнодушно, без напрасных волнений и ненужных сцен. Ведь он, Борис, приехал сюда поправлять здоровье. Когда подошел в гостиной господин Беренс, Борису неудержимо захотелось рассказать, как он убил полковника Херинга, но он подавил в себе это истерическое желание. К этому воспоминанию немедленно же присоединилась мысль: «А ведь прав был господин Беренс, когда, узнав об отце, успокоился в отношении сына».

Борис отмахнулся от неприятных мыслей и стал разбирать и раскладывать по ящикам комода все привезенное им в вещевом мешке. Отдельной стопочкой он отложил книги. Книг было три: «Экономическое учение Карла Маркса» Каутского, «Коммунистический манифест», «Критика чистого разума» Канта. Первые две книжки дала Надя, а третью Борис в последний момент забрал с этажерки и сунул в мешок.

Борис взял Каутского и пошел на воздух—почитать.

В саду он сел в соломенное кресло, раскрыл книжку, вытянул ноги и ему неудержимо захотелось спать. Книжка упала на колени, ветер листал страницы—Борис заснул.

Он очнулся от холода. Уже стемнело. Борис глядел в небо: звезды высыпали наверху. Полярная звезда сверкала ослепительно. Там было еще холодней, темней и суше, чем на земле. Борис глядел в небо, и ему вдруг жутко стало. Дрожа, он поднялся с кресла, подобрал упавшего наземь Каутского и заторопился по аллее. Вот и дача. Борис хотел уже взойти на террасу, но прочел

над входом: «Симпатия». Да и дача была совсем не похожа на ту, в которой поселился Борис.

— Что за чорт! — удивился Борис.

Он заблудился и не мог понять, куда он попал. Повернул обратно и вскоре увидел свет из окон «Мон-Репо».

Пансионеры уже ужинали. Борис, извинившись, присел к столу. Сказал хозяйке:

— У вас, оказывается, есть еще пансион «Симпатия»?

— Там живут моя мать, мой муж и мой сын,— отвечала хозяйка.

Молоденькая дамочка снова сидела рядом с Борисом. Он не обращал на нее решительно никакого внимания, так же, как и на господина Беренса.

XXI

Борис ел, пил, спал, не дружа и не ссорясь с остальными пансионерами «Мон-Репо» и предоставив молоденькую дамочку господину Беренсу. Он уже по несколько раз прочел Каутского и «Коммунистический манифест». Канта он никак не мог одолеть: ничего не понимал в этой книге. Он подолгу гулял в сухом сосновом лесу, присаживаясь на валуны или ложась на песок спиной к солнцу. Он отдыхал первый раз в жизни. Первый раз в жизни он был совершенно свободен. Одно только беспокоило его: то, что он живет даром. Сначала он не думал об этом, но, чем дальше, тем более было ему это неприятно. Хозяйка относилась к нему так же, как и к остальным пансионерам, но это не утешало его.

Однажды, когда он вышел к обеду, он заметил, что

хозяйка уже не сидит на своем месте за столом. Вскоре она появилась, неся дымящуюся миску с супом. Она, наливая, сама стала разносить тарелки с супом.

— Где Марта? — удивился господин Беренс.

Хозяйка, вернувшись к своему месту, наполнила следующую тарелку супом, поставила тарелку на стол и заплакала.

— Такой некультурный, необразованный народ!

И она, утирая слезы, объяснила пансионерам, что весь штат прислуги — кухарка, горничная Марта, сторож — забастовал. Продолжает работать только электротехник.

Господин Беренс сразу же потерял всю свою подвижность, но испуга не было на его лице. Да и никто за столом не взволновался: тут сидели люди, привычные к такого рода историям. Никто ничего не сказал, но после обеда господин Беренс и полная дама предложили свои услуги на замену забастовавших. Полная дама настояла на том, чтобы заменить кухарку, а господин Беренс заявил, что он сегодня ночует в сторожевой будке. Хозяйка растроганно благодарила их.

В семь часов вечера загорелось электричество, но не прошло и десяти минут, как оно потухло: электротехник тоже снялся с работы. Через полчаса электричество вновь зажглось: место электротехника занял сын хозяйки. Борис вышел погулять. Он хотел встретить кого-нибудь из бастующих. В полуверсте от пансиона находился клуб, где собирались финские рабочие. Он пошел туда. Перед клубом, на лужайке толпилось много народу. Кри-

чали, смеялись отрывисто; вспыхивали при затяжке и раскурке огоньки в трубках. Бориса заметили. Незнакомый финн подошел к нему и, сердито хмуря белесые брови, проговорил на своем языке длинную фразу, из которой Борис не понял ни слова. Но жест финна был достаточно понятен — финн гнал Бориса прочь отсюда. Борис тем только, что он жил в пансионе, был враг этим людям.

Борис покорно повернул домой. Он решил совсем отстраниться, не присоединяться ни к пансионерам, ни к бастующим финнам. Но это оказалось невозможным. На следующий день все, кроме него, были втянуты в работу. Молоденькая дамочка помогала полной даме на кухне; хозяйка убирала комнаты; ей помогала бонна, на попечение которой, кроме того, были отданы все дети; господин Беренс и муж хозяйки поочередно исполняли обязанности сторожа; сын хозяйки работал на огороде и на поле, а вечером сидел на электрической станции. Борис ничего не делал — и это было слишком заметно. Пансионеры вежливо ждали, когда он сам предложит свои услуги. Борис оказался сейчас совсем не с той стороны, с какой был, когда убивал полковника Херинга. Он шел сейчас с полковником Херингом усмирять восставших волынцев. Положение осложнялось тем, что он был денежно обязан хозяйке: он три недели жил и питался даром. Это обязывало его прийти к ней на помощь в трудную минуту. И тогда господин Беренс окажется прав: знать отца — это значит знать сына.

За обедом господин Беренс осведомился у него вежливо:

— У вас руки совсем отвалились?

Борис был так занят своими мыслями, что не понял его слов. Он только взглянул на него с недоумением.

— Вы долго думаете еще оставаться индиферентным?—осведомился господин Беренс.

Маску жизнерадостного простака он снял еще вчера. Он стал суше, деловитее и злее.

Борис понял. Одно слово — и он окажется либо заклятым врагом, либо закадычным другом этих людей. Он бы мог ответить господину Беренсу совершенно спокойно, если бы не то, что он три недели жил на счет надиной приятельницы. Он боялся, что хозяйка пансиона напомнит об этом. Он был уверен, что она сейчас выдаст его.

Так и случилось.

— Ах господин Беренс,— вздохнула хозяйка.—Господин Лавров так заболел солдатом! Я согласился его даром на пансион взять. Он мне ничего не платит, но я понял, как болен господин Лавров. У него совсем нет деньги.

Господин Беренс криво усмехнулся. Он сказал уже в форме приказания:

— Сегодня после обеда вы замените меня.

Борис заметил, что господин Беренс говорит с ним уже не как с равным себе. Может быть даже его заставят работать теперь больше других, потому что он — даровой пансионер. Он встал и вышел из-за стола. У себя в комнате он быстро сложил вещи в мешок, надел пальто, фуражку и, закинув мешок за плечи, двинулся вниз по лестнице. В прихожей его догнала хозяйка пансиона, за ней придвигался господин Беренс.

— Испугались? — ядовито спрашивал господин Беренс. — Герой — нечего сказать.

Борис воскликнул в полном отчаянии:

— Я убил командира полка, в котором я служил, — полковника Херинга! Я не желаю вам помогать!

Господин Беренс расхохотался.

— Чем отговаривается! Есть даром да роскошничать — на это вы не большевик! А бороться со швалью — тут вы не хотите, тут вы большевик! Хвастун паршивый! Трус! Врете! Поверю я, чтобы вы посмели убить кого-нибудь! Шваль! Тихоня!

Он ругался совершенно сознательно, прекрасно понимая то, что говорит. Он был искренно возмущен. Хозяйку пансиона волновали совсем другие мысли: она боялась, не утащил ли что Борис. Никогда ее не покидавшая деликатность мешала ей произвести обыск в его мешке. Наконец она придумала выход:

— Ах, господин Лавров, вы, наверное, очень нехорошо уложил свои вещи. Мужчина никогда не умеет свои вещи уложить. Я вам уложу.

Она протянула руку к мешку. Но Борис уже двинулся к двери.

— Прощайте.

Он проклинал себя за все прошедшие три недели. Что за дурость — принимать даровую помощь от незнакомой надиной приятельницы!

Хозяйка ломала руки: она была уже уверена, что он украл. Иначе зачем же он так торопился!

— Ах, господин Лавров! — восклицала она, чувствуя,

что никак-никак не сможет потребовать обыска.—Ах, господин Беренс!

Одновременно с этими восклицаниями она утешала себя тем, что получила все-таки плату за месяц, а жил Борис всего три недели. Даже если он украл, то, может-быть, лишние сто тридцать шесть марок покроют покражу. К тому же, большая вещь не влезет в мешок. Тут хозяйка вспомнила фарфоровую статуэтку, которая стояла в комнате Бориса, и стремглав бросилась вверх по лестнице. Если статуэтки нет, то она скажет господину Беренсу, и тот словит Бориса. Статуэтка стояла на месте. Хозяйка поглядела еще в гостиной—все мелочи были на местах.

«Сын инженера не может быть вором»,— подумала она успокоенно.

А Борис шел уже по саду. Он почти бежал, не чувствуя тяжести мешка, и только на полдороге к станции умерил шаг. У него были кое-какие деньги, которых не хватило бы, конечно, на оплату трехнедельного пребывания в санатории, но которых было вполне достаточно для возвращения в Петербург. Господа Беренсы знали его отца, но это не должно больше успокаивать их в отношении сына!

Он завез мешок с вещами домой и сразу же отправился к Жилкиным.

Надя выбежала ему навстречу.

— Уже? — радостно спрашивала она. — Что, как ты отдохнул?

Она по обыкновению повела его к себе.

— Поправился, — говорила она, поглядывая на него.

Она держала его за локоть двумя пальцами, оттягивая рукав гимнастерки. — Ты доволен?

— Очень недоволен,— отвечал Борис и, усевшись на одну из так пугавших его некогда тумбочек, рассказал, ничего не утаивая, все, что с ним случилось в финской санатории.

— Я не понимаю, как я мог согласиться ехать на даровой корм в пансион!— закончил он.

Надя слушала, и слезы накапливались в ее глазах. Сдерживая плач, она сказала:

— Я заплатила за тебя. Ты жил не даром.

— Ты за меня платила?— удивился Борис.— Но почему же ты не предупредила меня об этом?

— Я думала, что ты тогда откажешься,— объяснила Надя, и слеза сорвалась и покатилась по левой щеке, несмотря на все усилия девушки удержать ее. Она отвернулась.

— Удивительное дело!— воскликнул Борис.— Впрочем, ты непричем. Это я круглый дурак и во всем виноват! К чорту! Забудем об этом! Сколько я тебе должен?

Надя в ответ заплакала, не сдерживаясь уже.

Борис подсел к ней.

— Что ты? Успокойся! Тебе я только благодарен. Это с твоей стороны чрезвычайно трогательно...

В его словах не было того, что могло бы успокоить Надю. Она откинула запавшие на грудь косы и разогнулась. Слезы высохли.

— Хорошо, забудем,— сказала она.

— Только уж прости,— отвечал Борис,— но я дол-

жен вернуть тебе деньги. С чего ж это я буду жить на твой счет!

Надя промолвила резко:

— Я заплатила за тебя пятьсот десять марок.

Когда Борис ушел, она долго еще сидела, выпрямившись на кушетке. Впервые она думала о том, что этот человек совсем не стоит такой любви. Он просто не замечает, не может понять, когда это так ясно. Если так, то она сумеет построить свою жизнь без него. Когда она подумала это, отчаяние снова вызвало на ее глаза слезы. Неужели уже поздно? Неужели она уже не может разлюбить Бориса? Она ударила даже кулаком по кушетке. Она твердо решила разлюбить, разлюбить во что бы то ни стало.

Борис, шагая к себе на Конюшенную, тоже думал о Наде. Он все прекрасно понял, но нарочно притворился непонимающим. Ему сейчас было не до любовных историй. К чорту!

XXII

С того дня, как вооруженные солдаты вышли на улицы Петербурга, Фома Клешнев стал худеть, теряя сон и аппетит. Его убивала маниакальная идея о захвате власти. Ему казалось, что удобный момент может быть упущен. Всякое препятствие приводило его в бешенство. Колебания рабочей и солдатской массы доводили его до остервенения. На заводах и в воинских частях он ораторствовал с таким пылом и ожесточением, что побеждал и убеждал всех.

Борис явился к нему на следующий день после приезда из Финляндии. Фома Клешнев на этот раз сразу

взял его в работу. Борис перестал принадлежать себе. Он оказался чем-то вроде секретаря Фомы Клешнева; идея о захвате власти захватила целиком и его. Фома Клешнев иной раз остервенело кричал на Бориса (если тот в чем-нибудь ошибся), и Борис не сразу научился отругиваться в ответ.

Для мыслей Борису решительно не оставалось больше времени. Это было похоже на фронтовую жизнь. Но это было не отступление, а наступление. Фома Клешнев худел, терял сон и аппетит, а Борис ни с того ни с сего порозовел, потолстел даже слегка. За эти месяцы совершенно беспорядочной и нервной жизни он поправился больше, чем в финляндской санатории. Это потому, что он, наконец, делал то, что хотел. Ему казалось, что он получил полную свободу. Гораздо позднее он понял, что свободы нет нигде на земле, ни в одном уголке, что он из всех имеющихся несвобод просто выбрал ту, в которой его желания и действия совпадали. Гораздо позднее он понял, что свободу надо построить, и построить жесточайшими средствами. А сейчас он уже научился смело орать в толпе солдат те слова, в которые он верил.

Однажды он заехал к саперам. Его выступление на митинге было неожиданно поддержано Козловским, вынырнувшим из толпы солдат. Борис пожал ему руку, как другу,— при той обстановке, в которой он выступал, и такой друг был полезен. Отбросить его всегда найдется время.

К Жилкиным он не заходил совсем.

Однажды только, уже в сентябре, он встретил в Смольном Григория. Тот, усмехнувшись, спросил его:

— Ты, говорят, большевик?

— А ты?

— Я выхожу из партии,—отвечал Григорий и прошел дальше.

К себе на Конюшенную Борис не заходил с весны и не знал, что там накапливаются письма от матери, полные слезных просьб и отчаяния. О том, что он обещал вернуть деньги Наде, он совершенно забыл.

25 октября мечта Фомы Клешнева, наконец, осуществилась: власть была захвачена. Теперь надо было удержать власть в своих руках. Фома Клешнев продолжал худеть.

В самых последних числах октября Борис зашел однажды на заседание Исполкома крестьянских депутатов, помещавшегося на набережной Фонтанки, за три дома от Невы. Он должен был тут найти Фому Клешнева. Говорил речь Чернов, вождь эсеровской партии. Чернов доказывал, что переворот, совершенный партией большевиков, есть всего лишь метод агитации перед выборами в Учредительное собрание, не больше того. Борис, оглянув собрание, увидел Фому Клешнева. Протискался к нему.

— Приходи через час, — сказал ему Клешнев. — У меня сейчас будет совещание.

Борис вышел.

После Чернова говорил Ленин. Борис не слышал его речи. Он упустил случай видеть и слышать вблизи вождя большевиков.

Выйдя в соседнюю залу, Борис огляделся: такие же стены, потолок, пол, словно ничего не изменилось. Борис зашел в кабинет печати. Тут хлопотали два журналиста: один — полный, в пенснэ, другой — тоже в пенснэ, но

худой. Человек, в котором Борис узнал видного деятеля, сунул голову в дверь и спросил:

— Когда выдаете гонорар?

— А вам за что?— осведомился полный журналист, не подымая глаз от бумаги, которую он быстро заполнял рядами черных строк.

— За статью «Россия погибла»,— отвечал деятель.

— В субботу,— сказал журналист, почтительно прекращая работу: он уважал автора статьи.— Здравствуйте (он назвал имя и отчество деятеля).

— Здравствуйте.

И деятель скрылся.

Борис проглянул последние телеграммы и прошел через залу к лестнице, вниз, в столовую. Там сытого вида депутаты обедали, как будто сегодняшний день был обыкновеннейшим днем. Борис тоже спросил обед. Он получил у стойки глубокую тарелку беф-строганова. Это была такая порция, которой хватило бы и на троих.

Борис сел за стол. Против него сидел человек в солдатской одежде, один из кандидатов в Учредительное собрание. Этот кандидат положил в рот кусок мяса, пожевал и выплюнул. Возмущенно обратился к Борису:

— Сволочи! Какими обедами кормят!

Встал и пошел из столовой. Борис подумал, что пищи, которую он оставил на столе, хватило бы на обед целому семейству: Петербург уже голодал. Он замечал у всех этих людей только недостатки: его взгляд был враждебным взглядом. Своим он простил бы и гонорар за статью «Россия погибла» и недовольство обедом.

В столовую вошел Григорий Жилкин. Он взял у стойки тарелку с беф-строгановым и прямо направился к

столу, у которого сидел Борис. Поставил тарелку и, не поздоровавшись, обратился к Борису:

— Мне только-что предложили итти в Учредительное по вашему списку. Я отказался. Сказали, что до завтра еще не поздно. Я иду по списку меньшевиков.

— Напрасно,—отвечал Борис.—Ты подумай, что ты делаешь. Уходишь в самый ответственный момент.

— Ты — граммофон Клешнева,— отмахнулся Григорий Жилкин,— а Клешнев — граммофон Ленина. Я старше тебя на десять лет, я больше имею политического и житейского опыта и я тебя серьезно предостерегаю: брось всех этих людей. Они тебе по молодости лет нравятся. Но это не шутка и не развлечение — решается судьба революции. Безумие в таких делах недопустимо. Оно ведет к гибели, обратно к монархии. Брось Клешнева!

— Нет,— угрюмо отвечал Борис.— Пускай я граммофон, но мне все это нравится.

Оба они и не подозревали того, что в этом мимолетном разговоре они решали свою судьбу, не на один год, а на много лет, до самой смерти.

— В конце концов, как хочешь, — сказал Григорий Жилкин.— Клешнев меня больше не интересует — если он погибнет, я его не пожалею. Но твоя судьба мне все-таки не безразлична. Я не хочу, чтобы ты зря погибал. Ты воображаешь себя политическим деятелем, а сам запутался в грязную, отвратительную историю. Я тебе говорю: брось все это.

Борис покачал головой.

— Я уж не могу бросить. Да и не хочу,— прибавил он, помолчав.

Они продолжали обедать. Наконец Григорий Жилкин отставил пустую тарелку, отер губы рукавом и улыбнулся ласково. Эта улыбка сразу же сделала его похожим на отца.

— Мне тебя жалко,— сказал он.— Во всяком случае, знай, что я всегда готов тебе помочь.

— Спасибо,— отвечал Борис. Ему тоже стало жалко Григория, и он сказал ему: — Я тоже тебе всегда и во всем готов помочь.

Григорий Жилкин засмеялся.

— Ну, надо надеяться, твоя помощь мне не понадобится.

Он встал и протянул руку Борису.

— До свиданья. Зайдешь к нам?

— Зайду,— отвечал Борис.

Они простились. Они простились надолго...

Доев беф-строганов, Борис остался еще на некоторое время в столовой. Опершись локтями о стол, он думал, какой он, в сущности, еще мальчишка. Он сначала совершает поступок, а потом только начинает соображать, надо ли было это делать. Это почти всегда: так он рванулся на фронт, ходил к члену Государственной думы, к Дмитрию Павловичу и даже Фоме Клешневу. В мелочах тоже: например, с поездкой в Кавантсаари. Во всем, во всем так. Пора взяться за ум и понимать то, что делаешь. Надо учиться самому заранее знать объяснение своим поступкам, чтобы мотивировка не следовал за поступком, а предшествовала ему. Надо перестроить себя. Вот сейчас, например: Клешнев не дал ему дела, освободил на час,—и вот он в такой день обедает и размышляет, как посторонний всему совершающемуся че-

ловек. Может быть он хочет даже отстраниться, как это захотелось ему в финляндской санатории? Или он струсит, как с Козловским, и убежит? Ведь действительно: то, в чем он участвует,—не шутка и не развлечение.

Он встал и пошел из столовой. Отстраниться он не смог бы, даже если б и захотел: такой уже он родился. Но и перестроиться так вот, в одну минуту, он тоже не мог.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXIII

СТАРУШКА в коричневом пальто и соломенной шляпе сторожила на платформе Николаевского вокзала вещи. Вещей было: корзина, громадный узел, несколько маленьких узелков, никуда не увязанный поднос и еще кой-какая мелочь. Старушка вглядывалась в конец платформы, туда, где здание вокзала. Иногда она вдруг пугалась и начинала пересчитывать вещи. В один из таких моментов, когда она перебирала и встряхивала узелки, к ней подошел высокий молодой человек в драной, с облезлым воротником шубе и коричневой, как у демобилизованного, фуражке.

— Я нанял тележку,— сказал он. — Сейчас придут за вещами.

Старушка засуетилась, хотела заплакать (просто от волнения), но раздумала. Она была вся растревожена и все в ней дрожало, как у клячи, которой вдруг пришлось тащить тяжелый воз. Крупный мужчина в барашковой шапке и овчинном полушубке, связав ремнем корзину и узел, перекинул поклажу через плечо: корзина повисла за спиной, а узел заторчал на груди. Старушка обеспокоенно взглянула на сына, показывая глазами на муж-

чину в полушубке. Сын, усмехаясь, нагрузил себя узелками и мелочью. Для подноса не хватило руки.

— Я тебе говорил, что эту дрянь надо выбросить! — раздраженно воскликнул он. — Пять лет таскаем за собой! Давно надо к чорту выкинуть!

— Я возьму, — виновато заговорила мать. — Ты, Юрочка, не волнуйся, это я сама понесу.

Она взяла поднос и еще раз прибавила:

— Сама понесу.

Они пошли к выходу. Старушка не спускала глаз с мужчины в овчинном полушубке: ведь в узле увязаны были мешки с мукой, а в корзину спрятаны хлеб, сахар и прочее, вывезенное с юга.

Вещи уложены в тележку. Мужчина стянул поклажу ремнем и двинул тележку за вокзальные ворота, на Лиговскую улицу. Старушка и молодой человек пошли за ним. Старушка в правой руке держала за ручку поднос. Поднос, качаясь, терся о коричневое пальто. Старушка забыла о том, что и эту штуку можно положить на тележку.

Тележка свернула направо, к Знаменской площади а оттуда, по Невскому проспекту, к Садовой улице.

Невский проспект был необыкновенно пуст и тих. Каменная громада домов казалась пустой, лишенной жизни. Старушка шла за тележкой испуганно и виновато. Она шла несколько сбоку, чтобы широкая спина возчика не мешала взглядывать на поклажу. Сын, подняв воротник и сунув руки в карманы, сутулился: ему было холодно.

— Ерунда, — сказал он, наконец. — Для чего тебе нужно было возвращаться сюда!

— Юрочка, не спорь с матерью,— отвечала старушка, и в голосе ее послышалось нечто уверенное, омолодившее ее сразу. — Мать знает, что делает.

— Мы из-за тебя уже пятый год мотаемся неизвестно зачем и почему. Нужно с ума сойти, чтобы возвращаться сюда!

— Юрочка, — повторила старушка, — не спорь с матерью. И не пятый год, а третий.

— Уж если на то пошло, то четвертый. Но это сумасшествие!

Снова они медленно двигались по умирающим улицам Петербурга. Тележка свернула на Садовую улицу. В конце ее, невдалеке от мостика к Лебяжьей аллее, возчик остановил тележку.

— Отдохнуть надо, — сказал он, разминаясь и стягивая рукавицы.

Старушка вся, с ног до головы, вздрогнула.

— Отдохнуть надо,— повторил возчик и хлопнул по корзине рукой. — Хлеба дайте, с утра не ел.

Старушка вся, с ног до головы, вздрогнула.

— Товарищ, — заговорила она возбужденно, — мы вам все дадим — только довезите. Я даже дам кусок сахару. Я сама большевичка, и у меня знакомые в Кремле. Это мой сын—он работал в Народном комиссариате просвещения в Харькове, а я—в чрезвычайной комиссии.

Она действительно работала одно время в чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотности. Она продолжала:

— Вы, пожалуйста, довезите нас. Нам очень спешно, по государственной необходимости. Вы, наверное, пролетарий? Я очень люблю пролетариат, и сын мой любит,

еще мой покойный муж страдал за вас в институте. Мы совсем бедные, мы сами — пролетариат, но мы дадим вам из последнего.

Она выпустила еще много совершенно лишних слов. Сын отвернулся, сжимая кулаки, и стукнул ногой по мерзлой, в ухабах, мостовой. Даже по спине его видно было, до чего он взбешен. Мать успокаивающе и убеждающе мигнула сыну, словно глядела не в лопатки ему. а в глаза.

Возчик слушал ее с некоторым удивлением. Он мало что понял, но убедительные интонации подействовали на него. Он надел рукавицы и двинул тележку дальше. Старушка торжествующе взглянула на сына и произвела совершенно для нее неожиданный удовлетворенно-чмокающий звук, который приличен был бы юноше, а не такой почтенной женщине; при этом она даже прищелкнула пальцами левой руки, что уже совсем не шло к ней. Коричневые шерстяные перчатки заглушали звук щелчка.

На Троицком мосту и дальше, на Каменноостровском проспекте, было тихо. То, что плелось по изрытой мостовой, не оглядывалось на бредущих за тележкой старушку с сыном.

За мертвым «Аквариумом» сын заговорил:

— Безумная идея! Прямо с вокзала ехать к малознакомым людям. Да может быть их теперь и нет тут совсем!

— Не волнуйся,— возражала мать.— Ведь мы списались, ты сам это прекрасно знаешь. Не беспокойся: Жилкины не пропадут, они при всяком режиме устроятся. Не такие люди.

Сын пожал плечами.

— Ты не должен спорить с матерью,— продолжала старушка и заволновалась вдруг:—Неужели же действительно их уже нет? Это так было бы на них похоже!

Она готова была обвинить сына в том, что они вернулись в голодный, умирающий Петербург, когда возчик, остановив тележку, осведомился:

— Вам к какому дому?

— Вон к тому, к серому,—заторопилась старушка.— Подъезжай туда.

Она произнесла последние слова, слегка выпрямившись, так, словно подъезжала в экипаже. Но тут же опять ссутулилась.

— Вот этот дом, товарищ. Пожалуйста!

У подъезда мать и сын поссорились. Сын сел на корзину и отказался итти наверх—стучать в квартиру Жилкина. Он посылал наверх мать.

— Я не могу вламываться ни с того ни с сего к чужим людям. Зачем я буду это делать? Ступай сама. Ты это затеяла — ты и расхлебывай.

— Юрочка! — говорила мать, указывая глазами на возчика. — Ты не должен так разговаривать с матерью.

В руке она все еще держала поднос.

Возчик, сложив все вещи к подъезду, неожиданно вступился за Клару Андреевну:

— Нехорошо, гражданин! Это вам мамаша. Мамашу жалеть надо.

Клара Андреевна заулыбалась, но немедленно же стала защищать Юрия:

— Он очень болен. Он страшно устал и с ног валится. Я сама пойду, Юрочка, сама.

— Да уж я пойду! — воскликнул Юрий и встал с корзины.

— Нет, уж я теперь пойду!—заспорила мать.

Юрий шипел:

— Ты хочешь злодея из меня сделать? Я не злодей. Я пойду!

Они спорили бы долго еще, если бы Клара Андреевна вдруг не испугалась, что пропадут вещи. Пока она пересчитывала узелки, Юрий вошел в подъезд, поднялся по лестнице в третий этаж. Он стучал в дверь, обитую драной клеенкой, до тех пор, пока, наконец, не услышал голос:

— Кто стучит?

Через десять минут возчик уже втаскивал вещь за вещью в квартиру Жилкина. Клара Андреевна суетилась, стараясь одновременно и поздороваться с Жилкиным, и уследить за возчиком, и сообразить, сколько хлеба надо отрезать за доставку вещей с вокзала.

Жилкин неподвижно стоял в прихожей. На нем был пиджак, надетый прямо на рубашку. Штаны висели на ногах, как шаровары. Рубашка была черна от грязи. Воротничка не было. Волосы на голове и на лице совсем поседели.

Клара Андреевна принялась развязывать один из узелков, заслоняя его всем своим ссохшимся телом, потерявшим половину своей прежней тучности. Она не хотела, чтобы возчик и Жилкин видели содержимое узелка. Она отломила с четверть фунта хлеба и, придавая лицу самое невинное выражение, протянула возчику. В том все взъерошилось сразу. Он заговорил свирепо:

— Это за такой конец!..

Юрий выдернул из узелка буханку фунта в три весом и, прежде чем мать успела ахнуть, сунул ее возчику. Тот поблагодарил и ушел. Клара Андреевна хотела закричать на сына, но сдержалась. Она научилась сдерживаться.

— Где поднос?— забеспокоилась она. — Юрий!..

Поднос лежал на корзине: она сама положила его туда.

Клара Андреевна сообразила, что пришло время вступить в какие-нибудь отношения с хозяином квартиры.

Старик Жилкин, растерянно мигая глазами, говорил:

— Ну вот, вы тут уж сами распоряжайтесь. Наташи нету.

— Мы так благодарны вам за приют!—отвечала Клара Андреевна.—Я буду помогать Наташе по хозяйству: Наташа скоро вернется? Наташа...

— Нет, она не вернется,—перебил Жилкин.

Он и в письме не сообщил и теперь не сказал, что Наталья Александровна, его жена, умерла уже больше года тому назад от истощения. Он знал, что если заговорит об этом, то заплачет, а плакать он не хотел.

— А Григорий тут?— спросил Юрий.

Жилкин в ответ только махнул рукой.

— А Надя?

Жилкин молча отмахнулся и от этого вопроса.

— Вы тут один?— воскликнула Клара Андреевна.— Как же вы управляетесь? Бедный!

В квартире было явно неблагополучно, и это успокоило Клару Андреевну. Она привыкла считать Жилкиных людьми преуспевающими и за это ненавидела их и винила во всех несчастьях. Она считала всегда, что

Жилкин и на несчастьях умеет жиреть и приобретать громкую известность. А тут, оказывается, и Жилкина подшибло. Впрочем, Клара Андреевна, по обыкновению, не задумалась над тем, почему ненависть мгновенно заменилась в ней любовью.

— Я сейчас вас накормлю! — заявила она.— Посмотри, Юрий, ведь он же с ног валится!— указывала она сыну на Жилкина.—Он еле стоит.

Она начала развязывать и распаковывать вещи, чтобы наскоро приготовить еду.

Жилкин ел много и жадно. С особенной энергией он пожирал белый хлеб. Когда он, насытившись, отвалился, Клара Андреевна осторожно задала давно заготовленный вопрос:

— Вы не знаете, где теперь Борис? Я от него с самого отъезда не имею известий.

— Наташа умерла,— отвечал этнограф и заплакал.

Клара Андреевна тоже заплакала, вспомнив о муже. Минуты три они плакали так — каждый о своем. Потом Клара Андреевна повторила вопрос:

— А Борис где?

В дверь с черного хода застучал кто-то.

Клара Андреевна, вскочив, сама бросилась отворять. Она двигалась так энергично, словно ей было двадцать лет и она не совершила только-что утомительнейший переезд. А Юрий уже спал в кабинете на кожаном диване.

С черного хода стучалась женщина, которая вела хозяйство Жилкина. Она явилась готовить обед. Клара Андреевна прогнала ее и вернулась к этнографу. Она ви-

дела, что в этой квартире ничто не помешает ей взять власть в свои руки.

— Где же Борис?— спросила она.

Жилкин отвечал:

— Борис — большевик. Он — секретарь Клешнева. Я случайно узнал.

Клара Андреевна затихла, не зная еще, как отнестись к этому сообщению.

— Этот Клешнев!—воскликнула она, наконец.— Я всегда говорила, что он мерзавец.

Клешнев, о котором она только-что впервые узнала, мгновѐнно стал для нее таким же виновным во всех несчастьях злодеем, каким был до того Жилкин.

Жилкин — совсем как прежде — развел руками.

— Он — убежденный человек. Трудно сказать — он хороший или плохой... Теперь ведь все нормы утеряны.

— Господи! — воскликнула Клара Андреевна. — Я понимаю — Борис. Он давно высказывал такие взгляды, он давно большевик и даже пошел добровольцем на войну и был ранен. Он давно ненавидел немцев. Но Клешнев! Почему Борис секретарь этого мерзавца? При его-то талантах! Это ужасно. Действительно царство хама.

Жилкин не уловил путаницы в ее словах: ему было не до того. Он хотел рассказать теперь о сыне и дочери, но не смог: снова заплакал.

Потом он поднялся, вынул из кармана совершенно грязный воротничок и стал прицеплять к рубашке.

— Мне надо в Балтфлот, — объяснил он, — на лекцию... Оттуда — в милицию: тоже читаю там... Это... а...

Он направился в прихожую.

Когда он ушел, оказалось, что Клара Андреевна страшно устала. Вся энергия оставила ее и она вновь превратилась в маленькую, ссохшуюся старушку. Она с места не могла сдвинуться. Все болело: руки, ноги, живот, грудь.

— Юрочка! — звала она сначала тихо, потом все громче: — Юрочка! Юрик!

Но Юрик не откликался: спал.

Клара Андреевна, собрав остаток сил, поднялась со стула, доплелась до кровати Жилкина и свалилась на нее.

XXIV

Борис вставал в восемь часов утра и к девяти отправлялся на службу. Возвращался домой он не раньше шести часов. С двенадцати до четырех ежедневно он, в качестве секретаря Фомы Клешнева, принимал в Совете просителей. На него выстраивалась очередь, как на хлеб. Являлись к нему часто и с делами, которые совершенно не касались его, и не верили ему, когда он говорил:

— Это от меня не зависит.

Каждый человек, дорвавшись до первого попавшегося начальства, стремился рассказать всю свою жизнь, чтобы обосновать просьбу или жалобу. Часто женщины, рассказывая ему свое дело, взглядывали на него, как Тереза в цукерне и дамочка в финляндской санатории. Борис старался быть вежливым: внимательно выслушивал каждого и обстоятельно отвечал. Тогда прошел слух, что этот комиссар — хороший, и очередь у Бориса с каждым днем вырастала. К нему уже стали приходить не по делу,

а так просто — посоветоваться. Некоторые из просителей разговаривали с ним совсем уже по-свойски.

Чепуха перла к Борису.

Вот сегодня, например:

Тайный советник явился с просьбой о восстановлении в чине; так и попросил:

— Вам это ничего не значит сделать, а мне это очень важно.

Старушка в черном капоре плакала, умоляя освободить сына, арестованного по обвинению в шпионстве.

— Он ведь только из-за денег,—объясняла она,— только чтоб деньги заработать шпионом заделался.

Некий организатор коллектива требовал, чтобы имущество всех находящихся в районе музеев было роздано рабочим:

— Там картинки висят без дела, и мебели много, и государству большие затраты. А рабочие — хозяева жизни.

Балетная актриса принесла билет в театр и просила вернуть ей реквизированный сейф. Она сидела долго, и глаза ее откровенно соглашались на все, чего только пожелает Борис.

Рабочий жаловался, что инженер, к которому его вселили, заставляет его рубить дрова и топить времянки,— и еще много всяких дел и случаев. Все это по большей части (в особенности дела об арестах) направлялось совсем не по адресу: Борис, даже если бы захотел, не смог бы помочь.

Фома Клешнев являлся обычно гораздо позже Бориса. Он прошел к себе через приемную как раз тогда, когда Борис говорил с актрисой. Когда приемная, выгово-

рившись, опустела и затихла, он позвал к себе секретаря и осведомился:

— Ты что мне тут устраиваешь?

Борис усмехнулся в ответ.

— Не беспокойся. Нельзя же в шею гнать. Я к тебе лишних людей не пускаю.

Прибавил:

— Для них ведь все внове. То, что для нас ясно, для них совсем неясно.

По дороге домой Борис встретил приятеля, следователя чрезвычайной комиссии. Тот пошел проводить его. Борис знал, что следователь недавно женился, и спросил его:

— Как жизнь?

Сентиментальная улыбка появилась на лице следователя. Он заговорил о жене:

— Это такая женщина, такая женщина! Она все понимает. Я просил отпуск — не дали. Дела, дела... много работаю...

Следователь взглянул на Бориса — и улыбки уже не было на его лице. Отвел глаза и продолжал:

— Истрепался. На-днях приятель, понимаешь ли, попался. И как попался: в бандитизме. Все нервы можно испортить. Жена и то уговаривает уйти в другую работу.

— Серьезное дело? — спросил Борис.

— Придется, пожалуй, расстрелять, — отвечал молодожен и снова взглянул на Бориса.

Борис знал, что этот счастливый муж, если надо будет, преспокойно заарестует и его, Бориса, и отправит по-приятельски налево, а потом будет жаловаться комунибудь, как сегодня Борису:

— Приятель, понимаешь ли, попался!

Следователь остановился.

— Всего лучшего. Заходи.

Борис пожал ему руку.

Продолжая путь, думал еще некоторое время о следователе, о его жене. Задал себе каверзный вопрос: а что, если так, между прочим, он узнал бы, что этот следователь расстрелял кого-нибудь из его близких — например брата? Ведь это возможно. Что тогда? Этот вопрос не надолго занял его. Там видно будет.

А где брат? Где мать? Борису казалось, что он никогда больше не встретится ни с ними ни с Жилкиными. И это может-быть к лучшему.

Он шел по Конюшенной улице, той улице, где он некогда жил с матерью, отцом и братом. Остановился у подъезда дома, где раньше был ресторан «Медведь», один из лучших в Петербурге. Теперь тут помещалась столовка. Лиза, жена Клешнева, дала Борису свою обеденную карточку, прикрепленную к этой столовой. Борис таким образом имел два обеда в день: один — на службе, другой — в «Медведе».

Он вошел в подъезд. В огромных залах — тишина, хотя людей много. В молчании люди занимались самым важным делом в жизни: они — ели.

Стояли в очереди за посудой. Потом в очереди за супом. И норовили съесть по две, а то и по три тарелки горохового супа. Кроме супа, на обед не полагалось ничего.

Борис, получив суп, сел за один из столиков. Он был в военной шинели (без погон, конечно) и папахе. Светлый волос вился по его щекам и подбородку. Отодвинув

папаху на темя, он, склонившись над тарелкой, ел медленно, то-и-дело оглядываясь вокруг и останавливая взгляд то на одном, то на другом едоке.

Вот он положил ложку на стол. К нему осторожно придвинулся мужчина в меховой шапке и без пальто, с деревянной ложкой в руке. Лицо у мужчины беспорядочно заросло жестким густым волосом. И казалось: все тело его, скрытое лохмотьями блузы и широченных штанов, должно быть тоже волосатое и грязное.

— Разрешите докушать,—очень вежливо попросил он Бориса.

Тот не понял.

Волосатый мужчина произнес отчетливей:

— Разрешите докушать? У вас осталось...

— А!—отвечал Борис.—Пожалуйста, пожалуйста!

В тарелке его действительно оставалось еще немного супа.

Мужчина торопливо схватил тарелку и стал есть, облизываясь и причмокивая.

Он наслаждался.

Потом он вздохнул удовлетворенно, поставил тарелку обратно на стол и промолвил:

— Большое вам благодарю.

Прибавил неожиданно:

— Молодцы большевики. Сволочи, конечно, но молодцы! Как людей держат — и ничего! Терпят люди.

Это было неясно, но Борис усмехнулся, словно понял что-то. Он поднялся, взял тарелку и ложку и пошел в очередь: сдавать посуду.

XXV

Клара Андреевна каждое утро просила Юрия узнать, где Борис и что с ним. Но Юрию было не до брата.

Юрий поступил на службу в архив. Он работал в здании на Чернышевой площади до позднего вечера: нумеровал дела, заверял их, а отработав то, что полагалось по службе, оставался еще для того, чтобы писать порученные ему примечания к сборнику архивных материалов. Он делал все это с удовольствием: ему это гораздо приятнее было, чем шатание по России. Обедал он на службе в столовке.

Служба, забота о хлебе—все это исчерпывало Юрия. У него ни на что больше не оставалось сил. И он со дня на день откладывал поиски брата. Он знал, что найти брата в общем легко, но для этого надо затратить все-таки три-четыре часа.

Наконец он уступил настойчивым требованиям матери. Обещал разыскать Бориса. Но засиделся в архиве и вспомнил о своем обещании только, когда на часах пробило восемь. Он надел пальто, шапку, взял портфель и вышел на темную площадь. Решил зайти по дороге в дом на углу Фонтанки и Невского. Он не знал точно, что помещается в доме, но по вывескам и плакатам предполагал, что, может-быть, там знают что-нибудь о Борисе. И, во всяком случае, матери можно будет сказать, что он заходил и узнавал.

Он направился по набережной Фонтанки к Невскому. Он думал уже не о Борисе. Он шел опустив голову, сутулясь, с портфелем подмышкой, и думал о ненависти Достоевского к Тургеневу. Этот вопрос занимал его. Он

готовил даже статейку на эту тему. Но ему хотелось открыть что-нибудь новое в этом вопросе—ну, хоть пустяк какой-нибудь. Сегодня, например, один из архивистов высказал ему чрезвычайно интересные мысли о «Селе Степанчикове». Сверяя речи Фомы Опискина с гоголевской «Перепиской с друзьями», он уверял, что Фома Опискин — это пародия на Гоголя. И он был совершенно прав: сверка доказывала правоту его мысли. Вот бы Юрию о чем-нибудь таком догадаться! Но у него еще не было того нового, никому не известного, что можно было бы положить в основу статейки. Ведь например то, что Кармазинов из «Бесов» — пародия на Тургенева,—всем известно уже. А на компилятивную работу без своего какого-нибудь открытия Юрий не мог согласиться: он был самолюбив.

Неожиданный удар в спину заставил Юрия поднять голову и вспомнить, где он находится сейчас и в какое время живет. Перед ним стоял высокий человек в солдатской шинели и рвал с него пальто.

Справа стыла подо льдом Фонтанка. Набережная была пуста. Дома слева казались нежилыми: окна были темны — электрическая станция не дала еще света. Юрий, прежде чем успел сообразить что-нибудь, завопил пронзительно:

— Караул! Грабят!

И, выронив портфель, бросился бежать. Город оказался населенным людьми. От ближайших ворот отделился человек в дохе, за ним двигался еще человек. Из следующих ворот тоже вышел на панель мужчина. Солдат рванулся к площади. Юрий, увидев людей, остановился. Он не боялся уже. Теперь только он заметил,

что портфеля подмышкой у него не было. А в портфеле — книги из архивной библиотеки. Их никак нельзя было потерять. Мужчина в дохе схватил солдата, товарищ подбежал помогать ему. От разных ворот, уже уверенные в полной безопасности для себя, подбегали и подходили обрадованные приключением люди. Их, впрочем, было не так уж много. Ломовик, сворачивавший с площади на набержную, бросил телегу и лошадей и, помахивая кнутом, бежал по мостовой и кричал в восторге:

— Ау его! Ау!

Оказалось, что город только притворялся тихим и мертвым. Люди тут есть, их много — только они затаились до времени по домам, сжались в комок, укрылись.

— Ау его!—кричал ломовик, вытягивая кнутом по мостовой.

Обнаружился даже милиционер. Он свистал, сзывая товарищей.

Юрия оттиснули на мостовую. Он пробивался вперед и говорил каждому:

— Товарищ, портфель у меня там...

— А ты не роняй, — сказал один.

Тем, что именно Юрий виновник развлечения, что именно на него напали, никто и не интересовался.

Справиться с грабителем оказалось не так легко. Солдат отбивался отчаянно. Он в кровь разбил лицо человеку в дохе, ударом ноги в живот так ушиб другого, что тот, опустившись на панель, отполз в сторону и завыл. Вокруг солдата было уже пустое пространство. Люди испуганно теснились прочь, а солдат кричал:

— А ну выходи! Всех убью! Сволочье!

— Ах, стерва! — обрадовался ломовик и вытянул кнутом по спине ни в чем не повинного прохожего. Когда тот возмущенно обернулся, ломовик, подмигнув весело, повторил, указывая кнутовищем на солдата: — Стерва-то какой!

И полез драться с удовольствием, как на купанье. Он возил в кооператив продукты и хорошо питался.

За ним пробирался Юрий. Оглядел панель: портфель валялся у стенки за солдатом. Он раскрылся, и угол одной книги высунулся.

Солдат встретил в ломовике достойного противника. Бойцы схватились в обхват. Они пыхтели, пытаясь опрокинуть друг друга. Юрий следил за их ногами. Каждый раз, когда тяжелые сапоги приближались к портфелю, сердце Юрия замирало. Наконец он не выдержал, осторожненько шагнул в пустое пространство, нагнулся, схватил портфель и отскочил обратно в глазевшую на бой кучку людей.

Он этим своим движением нарушил эстетику боя: до того все, даже милиционер, бескорыстно любовались борьбой ломовика с солдатом. Теперь все, и прежде других милиционер, вспомнили, что перед ними разбойник, на которого можно и надо кидаться кучей.

В свалке сначала ничего нельзя было разобрать, потом оказалось, что у солдата уже связаны за спину руки и его держали двое.

Юрий, у которого портфель уже крепко зажат был локтем к боку, получил способность возмущаться, радоваться, сочувствовать. Человек в дохе отирал кровь с лица, а кровь текла и текла из рассеченной щеки. Невдалеке, опершись о стену, стоял его товарищ, которому

солдат отбил живот. Он дышал тяжело, но боль, очевидно, уже проходила. Человек в дохе злобно объяснил милиционеру, что случилось. Ломовик, сделав свое дело, шел к оставленной телеге. Это был совсем еще молодой парень.

Юрий подошел к милиционеру. Человек в дохе обернулся к нему:

— Вот на этого наскочил. За него и морда у меня разбита. Знал бы — не помогал.

Он с ненавистью глядел на Юрия.

— Простите, — сказал Юрий, — но он напал на меня.

— Как фамилие? — сердито перебил милиционер.

— Лавров. Я архивариус Лавров. Я вот тут работаю (Юрий указал по направлению к Чернышевой площади).

— Спрашивают сначала, как фамилие, — оборвал милиционер.

— Да, фамилию говори, а не болтай зря, — поддакнул человек в дохе.

— Мелет тут, не разберешь что, — злобно проговорил еще один голос из толпы.

Все, даже милиционер, глядели на Юрия с такой злобой, словно это он раскровянил лицо человеку в дохе и отбил живот другому человеку.

— Таких бы на улицу сейчас не пускать, — сказал один. — Сидел бы при маменьке.

— Моя фамилия — Лавров, — оскорбленно повторил Юрий. — Я...

— Слышал уже, — перебил милиционер, записывая.

Юрий окончательно обиделся.

— Я — советский служащий, — сказал он. — На меня напали и... это возмутительно...

Солдат дико оглядывал всех, как зверь.

Милиционер для вида записал адрес Юрия и отпустил его. Юрий пошел по набережной Фонтанки к Невскому. Город снова притворился тихим и мертвым. Но это он только временно притих. В нем многое думалось и говорилось; многое затаилось в страхе на долгие годы; многое затевалось в этом городе.

Юрий, проходя Невский проспект, вздрогнул весь с головы до ног и замотал головой: это он вообразил себя без пальто, обокраденным, когда и без того голоден и денег нет. Идя по Садовой улице, Юрий вел разговор с грабителем — такой, какой он хотел бы вести в действительности: о том, что нельзя нападать на бедных. Он даже помахивал при этом рукой. Это помогло.

В конце Садовой он ускорил шаги, с опаской прошел Лебяжью аллею, перед тем, как переходить Троицкий мост, обождал попутчиков. Такие нашлись: трое мужчин, из которых двое были с портфелями.

На Каменноостровском Юрий снова вспомнил всю сцену нападения на него, но отмахнулся от нее. Прерванные мысли о Тургеневе и Достоевском возобновились. Юрий думал о том, как испугался Тургенев во время пожара на корабле. А в описании этого пожара он ни слова не сказал о своем страхе. Получилась изящнейшая вещица, которая годится в любую хрестоматию. Люди читают с удовольствием «Пожар на море» Тургенева, — и кому какое дело до того, как вел себя автор в действительности. Юрий не замечал того, что, защищая неизвестно перед кем Тургенева, он защищает са-

мого себя. И вдруг, уже подходя к дому, вспомнил, что опять ничего не узнал о Борисе.

Клара Андреевна, отворив дверь, воскликцала:

— Куда ты пропал? Ты так совсем себя замучишь! Так больше нельзя!

Юрий в ответ только рукой махнул.

Клара Андреевна приготовила ему блины из муки. привезенной с юга, и, пока Юрий ел, говорила:

— Ничего нет о Борисе. Жилкин не знает. Я прямо не живу — где он? Где помещается партия? Ты узнавал сегодня?

— Бориса нет в городе, — соврал Юрий, чтоб отделаться. — Он — в провинции.

— Ты это наверняка знаешь? — заволновалась Клара Андреевна.

— Специально заходил и узнавал, — отвечал Юрий злобно. — На меня напали на улице. Я еле отбился. А все из-за того, что ты гоняешь меня еще за Борей. Я и так подыхаю от усталости, а тут еще рыскай по городу. Чуть не убили. Что за жизнь! Что за жизнь!

XXVI

На следующий день вечером к Жилкину явился Клешнев: он давно уже собирался, да все не удавалось. И вот, наконец, нашлось время.

Дверь ему отворила Клара Андреевна.

Жилкин лежал, как всегда в свободные от лекций часы, на кожаном диване в кабинете. В руках у него был томик Чехова. Жилкин, чтобы спасти себя от безнадежных мыслей, читал под ряд все книги своей библиотеки.

Увидев в дверях кабинета своего бывшего секретаря и друга, этнограф поднял голову с подушки и сел, все еще не выпуская книги из рук. Он, казалось, надеялся, что Клешнев сейчас же уйдет, избавит его от себя. Но Клешнев шел к нему, протягивая руку:

— Здравствуйте, я был в разъездах, теперь вернулся. Давно хотел повидаться с вами.

Жилкин тяжело поднялся с дивана, отбросив Чехова.

— Садитесь, — предложил он и пожал Клешневу руку.

Клешнев опустился на стул.

Недоброе выражение портило лицо Жилкина. Непривычная для него злоба мучила его самого.

— Давно хотел повидаться с вами,—повторил Клешнев.

Жилкин ничего не ответил. Он как будто и не слышал слов своего бывшего секретаря. Потом встал и пошел из кабинета. Клешнев глядел ему в широкую спину, и ему жалко стало старика. Жилкин сам не знал, зачем он вышел из кабинета. Он столкнулся в столовой с Кларой Андреевной, помигал растерянно и сообщил:

— Там у меня Клешнев пришел. Чаю, может-быть...

— Этот Клешнев! — отвечала Клара Андреевна возмущенно и направилась в кухню. — Этот Клешнев! — повторила она.

Жилкин вернулся в кабинет.

— Сейчас будет чай, — сказал он.

— Спасибо, мне чаю не хочется.

Жилкин не обратил никакого внимания на эти слова.

— Вы все такой же хороший шахматист?—заговорил опять Клешнев.

Жилкин развел руками, слегка приподняв широкие плечи, — знакомый Клешневу жест, относившийся однако же явно не к вопросу Клешнева, а к тому, о чем думал сам Жилкин.

Клара Андреевна кипятила воду на примусе и вдруг сообразила, что Клешнев должен знать все о Борисе. Она заторопилась в кабинет, вошла и, не поздоровавшись, обратилась к Клешневу:

— Скажите, где Борис? Я его мать. Вы работаете с Борисом? Вы его знаете?

— Как же, знаю.

Клара Андреевна, вытягивая пенснэ из-за спины, чтобы хорошенько разглядеть Клешнева, спрашивала:

— Он жив? Он здоров? Ради бога, где он?

— Он тут, в Петербурге, — отвечал Клешнев.

Клара Андреевна всплеснула руками и заплакала.

— Боренька! Он тут! И не знает, что мать ночи не спит, думает о нем! Вернулся!

Лицо Жилкина приняло такое неприятно-мучительное выражение, что Клешнев уже не смотрел в его сторону. Он разъяснял Кларе Андреевне, где она может застать сына. Дал свой адрес: Борис временно жил у него.

— Сегодня уже поздно, — говорил он. — Лучше завтра. Или он к вам зайдет. Я ему скажу.

— Господи! Боренька! — воскликнула Клара Андреевна и пошла сообщать о радостной новости Юрию. — Боренька тут! Он вернулся из провинции! Я тебе говорила, что надо еще разузнать.

Клешнев снова остался один-на-один с Жилкиным. Он поднялся со стула.

— Итак, Дмитрий Федорович...

Жилкин перебил, отвечая на собственные мысли:

— Может быть, вы и правы... со своей точки зрения... только нет, нет! Не может быть... это не то, не то, совсем не то...

— Всего лучшего вам,—сказал Клешнев и протянул Жилкину руку.

Этнограф пожал руку и взглянул в лицо Клешневу так, словно первый раз увидел его сейчас.

— Да, — заговорил он. — Вы ничего не можете сделать для Гриши? Он сослан. Он ведь меньшевик...

Но тут же сам себя оборвал:

— Нет, это нельзя, конечно, конечно, я понимаю, нельзя, ужасно.

Он крутил пальцами единственную пуговицу на пиджаке.

— Все равно, да, конечно, нельзя, я понимаю, я человек старый, мне умирать надо, — бормотал он.

Клешнев пожал руку Жилкину и пошел в прихожую. В дверях он столкнулся с Кларой Андреевней, которая несла на подносе два стакана чаю и чайник с кипятком. Два куска сахару и два ломтика черного хлеба лежали на тарелочке.

— Этого! — возмущенно воскликнула Клара Андреевна, чуть не выронившая поднос из рук.

Клешнев дал ей дорогу.

Клара Андреевна поставила поднос на письменный стол и закричала:

— Куда вы? А чай? Я сейчас ситный принесу.

Но Клешнев уже ушел.

— Что это он? — не понимала Клара Андреевна.— Этот Клешнев!

Жилкин заплакал. С приезда Клары Андреевны это случалось с ним очень часто. Клара Андреевна, опустившись в кресло, тоже заплакала. Потом она придвинула этнографу стакан, другой стакан — себе, и они стали пить чай.

Клешнев шел в это время по Каменноостровскому проспекту. Он думал о Жилкине. Ему было жалко старика, но он видел, что помощь ему невозможно.

Клешнев подошел к Троицкому мосту. Одинокий автомобиль мчался навстречу, пустив вперед два белых, ослепляющих широких луча. Автомобиль пронесся мимо. Клешнев проводил его взглядом.

— Хорошо! — сказал он.

Лиза отворила ему дверь, когда он дошел наконец до дому.

Утром, прихлебывая чай, Клешнев говорил:

— Слушай, Борис это тебя касается: твоя мать и брат живут у Жилкина. Сегодня они, должно-быть, придут к тебе.

И помолчал, взглядывая на Бориса.

— Твоя мать очень переменилась. Я ее видел давно, лет двенадцать тому назад, даже больше. Мне было шестнадцать лет, когда меня прогнали с завода. Один студент ввел меня в революционный кружок — там я и познакомился с твоим отцом. Потом арест, ссылка. Когда я вернулся, пошел к твоему отцу. Всех арестовали, а твой отец — ничего, остался.

Клешнев все глядел на Бориса. Он не мог не причинить ему сейчас хоть какой-нибудь неприятности. Клара Андреевна разбудила в нем старые воспоминания.

— Тогда-то я имел краткий разговор с твоей матерью...

— Я очень рад, что мама приехала, — перебил Борис. — Очень рад.

Клешнев думал о Борисе: если бы не революция, то этот мальчишка так же ушел бы в тихую жизнь, как и его отец. Он случайный человек. Но тут же по честности должен был признать, что вряд ли случилось бы так: в Борисе было нечто, что не поддалось бы успокоению.

— Я приеду сегодня к двум, — сказал он.

Борис кивнул головой.

Намеки Клешнева не задели его. Не все ли ему равно, какие были отношения у Клешнева с его отцом? Он за отца не отвечает. И он сам, приблизительно, знал то, что хотел ему только что рассказать Клешнев.

XXVII

К вечеру, поднявшись по лестнице, Борис увидел перед квартирой, на площадке, мать. Он не сразу узнал эту маленькую старушку.

Клара Андреевна жалко улыбалась, открывая редкие зубы.

— Боренька, я уже три часа тебя жду.

— Я был на службе.

Борис отомкнул ключом дверь.

— Ты мне совсем не рад, — говорила мать. — Как ты можешь так не любить родных! Юрочка отказался

итти к тебе. Он оскорблен твоим отношением, и совершенно прав.

— Я очень рад тебе, — отвечал Борис и, нагнувшись, поцеловал мать (он был теперь на голову выше ее).

Клара Андреевна сняла пальто, кинула его на спинку стула и пошла в комнаты. Борис провел ее к себе. Клара Андреевна опустилась на кровать.

— Как мы живем, — говорила она. — Мы ужасно живем. Голодаем, а Юрий — тот прямо совсем истощен. Он кончает университет—он уже был, и его зачисляют. Профессора в восторге, но если бы больше ему здоровья! И как я уговаривала его не возращаться, оставаться в Харькове — нет, поехал, и я, старуха, за ним потащилась.

Она по обыкновению путала все причины и факты.

— Ты должен любить своих родных, — продолжала она. — Мне Клешнев все о тебе рассказал: как ты хорошо устроился и сыт. Ты теперь важная персона. Юрий узнавал — ты был в провинции и вернулся.

Она улыбалась, гордясь своим сыном; порылась в карманах кофты и вынула смятую бумажку. Борис молчал. Он действительно не так давно вернулся в Петербург из командировки по области.

— Я записала все, что ты должен сделать — и как можно скорей, — продолжала Клара Андреевна. — Может-быть мы сейчас с тобой и отправимся. Где же?.. Господи, я забыла дома пенснэ!

На этот раз она действительно забыла.

— Я сам прочту, — сказал Борис и взял бумажку.

Записка была такая:

«устроить что-нибудь Юрочке, а то он с ног валится, вернуть с Конюшенной наши вещи (следовал длинный и подробный список всех вещей),

«Грише разрешить вернуться к отцу — он достаточно поработал на пролетариат и имеет право,

«устроить мне службу, специальность — педагогика или медицина»,

Знаки препинания были расставлены как попало. Записка оканчивалась запятой. Очевидно, Клара Андреевна предполагала еще о чем-то просить, но забыла приписать. Все это очень похоже было на ту чепуху, которую так часто приходилось выслушивать Борису на приеме.

Клара Андреевна, выпрямившись, готовая к немедленным возражениям, глядела на сына. Борис заговорил возможно ласковее:

— О вещах. Вещи были проданы...

— Это говоришь ты!—возмутилась, перебивая его, Клара Андреевна. — И после этого ты большевик! Мы продали вещи спекулянту, зубному врачу. Я там была и уж я знаю. Смешно говорить о продаже, когда революция! Все эти сделки отменены, а вещи принадлежат нам. Ты просто не хочешь — так и скажи. Ты всегда не любил свою мать. Ничего! Родной сын не поможет — чужие помогут!

Борис стал подробно и внимательно объяснять дело. Клара Андреевна слушала с нарочитым спокойствием, кивая изредка головой. Когда Борис кончил, она повторила:

— Ты просто не хочешь. Теперь я вижу, как ты любишь свою мать. Хорошо,—продолжала она,—мне ничего от тебя не нужно. Но Жилкиным ты уж достаточно обязан. Для них ты все должен сделать. Гриша сослан, потому что меньшевик. Но ведь он революционер.

— Это не в моей власти, — угрюмо отвечал Борис.

Клара Андреевна принялась искать пенснэ. Но, вспомнив, что пенснэ нету, прекратила напрасные поиски. Она не находила слов: она была потрясена жестокосердием сына.

— Боренька, — заговорила она наконец. — Господи, во что ты без меня превратился!

Она заплакала.

— Но это не в моей власти, -- повторил Борис. — Пойми же...

Но было ясно, что Клара Андреевна никак не могла согласиться на мотивы, которые предполагал выставить Борис, и он замолк.

— Брат на брата! — восклицала трагически Клара Андреевна. — Господи, хоть бы умереть! Ведь это — Гриша, твой ближайший друг!

Борис, чтобы прекратить разговор об этом, сказал:

— Оставь мне записку, я сделаю, что могу.

— Нет. Родной сын не хочет — чужие люди помогут. Я сама поговорю с Клешневым. Безобразие! Люди использовали Жилкиных, жили на его счет и теперь мучают!

Воспоминание о невозвращенных Наде деньгах вдруг резнуло Бориса. Но это случилось так давно, что он тутже енова забыл об этом.

— Я сама поговорю с Клешневым.

Мать шумно дышала, устраиваясь удобнее и глубже на кровати. Наконец успокоилась, прислонившись к стене. Предстоящая сцена с Клешневым после утренних намеков Клешнева была как нельзя более некстати. Но предотвратить ее было невозможно: если попытаться разъяснить матери, она все равно поняла бы не так и отнеслась бы ко всему с излишней горячностью.

Борис знал, что любит мать несмотря ни на что, и не противился этой любви. Он знал также, что мать любит его... Стук с парадной двери прервал их беседу. Но это был не Клешнев, а Лиза. Клешнев вернулся позже.

Клара Андреевна, заслышав его шаги, засуетилась, поднялась с кровати, оправляя юбку и кофту, и пошла из комнаты.

Борис двинулся вслед за ней.

— Здравствуйте! — сказала Клара Андреевна.

Клешнев вежливо взглянул на нее и молча пожал руку.

— Мне Боренька посоветовал обратиться к вам, — начала она.

Этого Борис никак не ожидал. Он дернул удивленно головой, но Клара Андреевна уничтожающе взглянула на него и продолжала:

— Я хочу вас поблагодарить за Борю, за все, что вы для него сделали. Я думаю, что вам-то, по крайней мере, он отплачивает любовью за вашу доброту и заботы.

Борис отвернулся и глядел в окно, терпеливо поджидая неизбежный конец всей этой сцены.

— А вот для родных он палец о палец не ударит, — продолжала Клара Андреевна. — Он отказался помочь, и я сама к вам обращаюсь.

— В чем дело? — спокойно, но несколько резко спросил Клешнев.

— У меня все записано на бумажке.

Клара Андреевна снова стала искать забытое дома пенснэ.

— Дайте — я прочту.

Клешнев улыбался, читая бумажку.

Прочел и вернул записку Кларе Андреевне.

— Вы хотите на службу? Зайдите в Наркомпрос — там, я думаю, требуются работники. Я могу вас направить к товарищу (он назвал фамилию). По остальным пунктам ничего сделать не могу.

— Но ведь вы были у Жилкина секретарем, — напомнила тихо Клара Андреевна.

— Да, как же! — отвечал Клешнев. — Четыре месяца, до самой революции. Я очень люблю и ценю Дмитрия Федоровича.

— Вы были гришиным другом.

— Не стоит нам говорить об этом.

Клара Андреевна растерянно комкала свою записку. Потом снова стала расправлять ее. Борис подошел к ней, взял ее под руку и повел к себе.

Клара Андреевна села на кровать и заплакала. Плач понемногу переходил в истерику.

— Мама, не надо, — строго сказал Борис, прошел в прихожую, принес пальто и поднял мать с кровати.— Ты другой раз мне должна верить.

Он действовал так решительно, что Клара Андреевна затихла испуганно. Борис вывел мать из квартиры и повел ее домой.

Это было длинное и трудное путешествие. Клара Андреевна останавливалась на каждом шагу и плакала. Было уже совсем темно, когда Борис довел вконец измученную мать до дому. Он сдал ее на руки Юрию, который поздоровался с Борисом за руку, как чужой. Юрий даже и желания не выразил поцеловать брата и не пригласил его войти. Он повел мать в комнаты, утешая ее. Жилкин уже спал.

Борис постоял в темной прихожей. Стоны Клары Андреевны удалялись.

Квартира Жилкиных напоминала Борису о многом. Он повернулся и пошел прочь из этой квартиры. Громко хлопнул дверью, чтобы услышали и заперли на крюк.

Борис шел быстро. Вот трамвайная остановка, на которой сняла его военно-полицейская команда, когда он ехал в «Сатурн» с Надей. А вот тут ждала его Надя и заплакала, остановив его. Где теперь Надя? Действительно, где она?

Борис ускорил шаги.

Троицкий мост казался ему необыкновенно длинным. Вот и Марсово поле. Тут он бежал от унтера. Как его фамилия?

Борис торопился, словно хотел убежать от воспоминаний. Он старел от них. Он не любил напрасно вспоминать.

XXVIII

Борис много раз видел, как умирает человек. Умирали люди по-разному; одни знали, что умирают, другие уверены были, что останутся в живых; иные умирали спокойно; многие мучались, не желая умирать, но сил бороться со смертью у них не было. Самыми счастливыми были те, кто умирал героически, в минуту крайнего напряжения сил. В войне с Германией так умирали кадровые офицеры и солдаты; Борис уже не застал их — он явился на фронт слишком поздно, когда кадровых почти не оставалось — все выбиты были. Таких видал Борис очень много в годы гражданской войны: инерция борьбы в этих людях была так сильна, что побеждала страх смерти. Казалось иной раз, они так полны земной жизни, что победят и самое смерть. Но они все-таки умирали.

Первую смерть Борис запомнил, как первую любовь. Умирал раненый в живот солдат. Он лежал на земле со спущенными по колена штанами и задранной до груди рубахой. Лицо у него было цвета дорожной пыли. Он шевелил губами, шепча:

— Ведь это ж мука!

Он произносил эти слова очень убедительно, для того, чтобы муку эту прекратить. Но причинить боль легче, чем облегчить ее: никто не мог помочь солдату. Ротный санитар, оголивший раненому живот, приготовлял иод, бинт и марлю, поглядывая на тоненький кончик кишки, торчавший из раны. На кишку глядело еще несколько солдат: их занимал вопрос, как это она высунулась. Санитар навертел на спичку ватку, обмакнул в

пузырек с иодом и осторожненько тронул кишку. Раненый, приподнявшись, взревел как зверь: в этот рев ушли, должно быть, последние его силы.

— Но-но, — спокойно сказал санитар, — ведь пользу ж тебе делают!

Раненый уже снова уронил голову наземь.

Обмазав вокруг раны иодом, санитар стал перевязывать живот солдата. Раненый не стонал. Санитар приговаривал, подворачивая под спину бинт и левой рукой ловя из-под спины конец бинта:

— Не стони, терпи, домой поедешь!

Тут ему подозрительным показалось молчание солдата. Он опустил несопротивляющееся тело и подвинулся к лицу раненого (он стоял перед ним на коленях). Поглядел в лицо, нажал веки глаз, приложился ухом к груди и встал. Фуражку он только сбил на темя, не снял: смерть была привычна ему так же, как могильщику. Хозяйственным оком оглядел безжизненное тело и обратился к стоявшим возле солдатам:

— А ну-ка, ребята!

И принялся стягивать с мертвого сапоги.

Были и другого рода смерти, более странные. Одна смерть очень поразила Бориса: командир роты, из бывших офицеров (это уже в гражданскую войну), не раз говорил, что он умрет от третьей раны. Первый раз он был ранен еще во время войны с Германией. Вторично он был ранен при Борисе: в одном из боев пуля царапнула ему руку. Он на санитарном пункте написал письмо домой, прощаясь с родными. — Сейчас я получу третью рану — смертельную, — сказал он. Он не успел дойти

до своей роты—пуля пронизала ему голову, и он умер. Он, как и предполагал, умер от третьей раны.

Многие умирали добровольно. Они как будто созданы были для того, чтобы героически пожертвовать своей жизнью. Они вызывались на такие дела, в которых одним из неизбежных и необходимых условий была их смерть. И они шли с восторгом, думая не о себе, не о своей смерти, а о деле.

Теперь Борису предстояла смерть Жилкина — которая уж смерть в его жизни! Утром Юрий, не застав Бориса дома, оставил ему записку о том, что Жилкин заболел. К вечеру, когда Борис явился к родным, этнограф уже умирал. Он за один день так осунулся и побледнел, что Борис с трудом узнал его. Жилкин был в полном сознании и прекрасно понимал, что умирает. Он понимал даже, что брюшной тиф и прободение кишек — в данном случае чистая случайность. Он все равно не мог уже жить дальше, ему нечем было жить, словно воздух, которым он дышал, вдруг выкачали и оставили его в полной пустоте. Тот воздух, которым дышал Борис, был не для него, так же как и тот воздух, которым дышала Клара Андреевна.

Жилкин лежал тихо и не стонал. С того момента, как болезнь схватила его, он не издал ни единого звука. Он стоически выносил страдания, и это даже успокаивало Клару Андреевну. Но доктор, приглашенный Юрием, не сомневался в том, что положение Жилкина безнадежное. Когда в комнату вошел Борис, этнограф взглянул на него, и углы рта дернулись у него. Он расклеил губы, и Борису показалось, что он произнес:

— Зачем... Не надо...

Но эти слова так и остались невыговоренными. Борис однако же понял взгляд Жилкина. Он остановился, не дойдя до кровати, на которой лежал этнограф. Клара Андреевна, растроганно поцеловав его, пошла на кухню. В это время этнограф поднял голову с подушки, задвигал выпростанными поверх одеяла руками, а дышать стал коротко и часто, как дышит неумелый курильщик, пускающий дым до горла. Потом в его глазах отразился тот ужас, который известен только мертвецам и о котором живые люди могут лишь догадываться, — и Жилкин перестал дышать.

Все хлопоты по погребению взял на себя Юрий, отстраняя помощь Бориса. Он достал гроб и телегу. Похороны состоялись через два дня. Ко дню похорон явились представители курсов, на которых читал Жилкин — матросы и милиционеры. Сошлось также много студентов, студенток, приват-доцентов, профессоров, а также литераторов.

«Этого не забудут, — думал Борис, спускаясь по лестнице вместе с толпой. — Его долго еще будут помнить».

Панихид не было: Жилкин, убежденный атеист, успел запретить их в начале болезни.

Борис вспомнил «Вечную память» над могилой отца: отца забыли уже прочно и навсегда, от него ничего, кроме детей, не осталось.

«Не от этой ли предстоящей всегда обиды, — думал Борис, — мать так не любила Жилкина?»

Он взглянул на заплаканное, растерянное лицо матери и ему показалось, что и сейчас ей обидно сравнение этих похорон с похоронами мужа. Но Клара Андреевна,

как всегда, не разбиралась в своих чувствах: она полагала, что горюет о Жилкине.

Юрий сгибался, плечом подпирая гроб. Гроб был поставлен на телегу. Юрий здоровался с профессорами и студентами: он был среди них свой человек. Борис был тут чужой — он ни с кем не был знаком и держался несколько в стороне.

Хоронили Жилкина на Волковом кладбище.

Над могилой было много речей. Говорил и матрос, представитель курсов Балтфлота. Он очень взволновался, выступив вперед; большое лицо его побагровело, он приложил два пальца ко лбу, словно вспоминал, что надо сказать, потом выкинул руку вперед и закачал ею, держа открытую ладонь книзу:

— Товарищ Жилкин дорог сердцу матроса. Он пришел к нам сеять разумное...

Матрос говорил недолго и закончил так:

— Твое пролетарское сердце билось в одно с нашим. Наши лозунги были твоими лозунгами. Ты умер, но мы понесем твое знамя высоко.

Борис слушал матроса и думал о том, как удивился бы этой речи сам покойный этнограф.

Борис увидел пробирающегося сквозь толпу к могиле Фому Клешнева, который, опоздав к выносу, явился все же на кладбище. На Клешнева оглядывались: его многие знали в лицо. Клешнев остановился, не добравшись до мерзлой могилы, над которой уже работали могильщики. Он, должно-быть, хотел сказать речь, но увидел, что поздно уже.

Народ понемногу расходился. Клешнев подошел к

Борису. Юрий поздоровался с ним и отвернулся с равнодушным видом. Но Борис заметил, что брат искоса поглядывает на Клешнева с любопытством.

Двинулись домой.

Длинная дорожка заворачивала вдоль ограды к церкви. Перед церковью — нищие. В воротах — тоже нищие.

Борис молчал. Он думал не о смерти, не о Жилкине, а о том, что он прожил очень тяжелую жизнь, что много тяжелого еще впереди, а человека, который бы пожалел его — нету. Ему захотелось той самой жалости, которой он сам никогда не давал людям.

Ему стало вдруг плохо. Ему показалось даже, что он сейчас заплачет. Спазма схватила горло, все внутри рвалось, и, казалось ему, даже ключицы у него сломаются сейчас от горя. Это прошло так же мгновенно, как и возникло.

Он догнал Юрия. Тот обратился к нему:

— Может быть ты снизойдешь до нас? Или окончательно высокомерие заело? Мама хочет, чтобы ты зашел к нам сейчас.

Борис не сразу даже ответил: никогда, а уж в особенности сейчас, он не отличался высокомерием. Да и с чего? Он удивился: до чего брат не попал в цель своими словами. Сказал:

— Никакого высокомерия. Я с удовольствием зайду сегодня, если можно.

Шли молча.

Борис помнил первую любовь — Терезу — так же хорошо, как первую смерть. А дальше — женщины, которых даже лица он не всегда мог вспомнить.

Борису казалось, что единственной его любовью была именно Тереза. Где она теперь? Наверно, так же как и раньше, подает кофе и шоколад в цукерне в Острове, Ломжинской губернии. Только Ломжинской губернии уже нет теперь, а Тереза, наверное, стала ярой польской патриоткой, ненавидит русских и давно забыла о Борисе, случайном русском солдате. Может быть она разбогатела теперь и содержит собственную цукерню?

XXIX

Клара Андреевна приняла от дворника письмо, адресованное «Дмитрию Федоровичу Жилкину для Бориса Ивановича Лаврова», тихо прошла в комнату, надела пенснэ и поглядела штемпель. Письмо было из Вологды. Клара Андреевна спокойно вскрыла конверт. Сделала она это крайне неаккуратно, оторвав от письма большой угол. Впрочем, угол она подобрала и приставила к письму. После этого она принялась читать письмо. Ей и в голову не приходило, что чужих писем читать нельзя. Это было письмо к ее сыну, а у детей не должно быть тайн от матери.

Клара Андреевна читала с увлечением, потом заплакала, сняла пенснэ, снова надела, задумалась. Письмо было от Нади. Надя писала Борису о том, что никак не может разлюбить его. Она нарочно оставила семью и родной город, завалила себя работой, чтобы забыть, но ничего не помогло ей. Она не может забыть. Она просила Бориса ответить ей хоть в нескольких словах — ну, хоть что-нибудь, — только, пожалуйста, поскорее. В письме к отцу, вложенном в тот же конверт, Надя про-

сила простить за двухлетнее молчание и умоляла найти Бориса и передать письмо. Она не знала в своей Вологде, что отец уже умер.

Клара Андреевна умиленно улыбалась: она была растрогана. Ей лестно было, что сына ее так любят. Она решила, что сам бог дал ей в руки это письмо, чтобы она могла устроить счастье сына. И она устроит, она сделает сына счастливым. Ей уже представлялось раскаяние Бориса (в чем раскаяние — неизвестно, но раскаяние было обязательно), потом общие слезы и мирная жизнь с обоими сыновьями и их женами (Клара Андреевна в воображении попутно женила и Юрия). Растроганная письмом и мечтами о прекрасном будущем, Клара Андреевна немедленно же собралась в дорогу. Было пять часов дня, когда она постучалась к Борису.

Клешнев вышел к ней и сообщил:

— Лавров тут больше не живет. Он перешел на работу в клубную секцию и живет не знаю где. Вы справьтесь завтра в секции (он сказал адрес).

— Так я вас обрадую.

И Клара Андреевна пошла в комнаты так, как будто это была ее квартира. Клешнев с ненавистью глядел на нее.

— Прочтите это письмо, — обратилась к нему Клара Андреевна. — Прочтите! До чего она любит Бореньку!

Клешнев взял надино письмо и проглядел первые строки. Сложил письмо и вернул Кларе Андреевне. Клара Андреевна сунула письмо в карман.

— Я тут непричем,—сказал Клешнев.—Это меня решительно не касается.

Он очень устал, надеялся отдохнуть немного, и ему предстоял еще целый вечер разъездов. Голова его была занята предстоящими делами.

— Но ведь вам Борис вроде сына, — говорила Клара Андреевна. — Вам должно быть приятно это письмо.

«Почему я должен выслушивать бредни выжившей из ума старухи?» — думал Клешнев. Но возвышать голос, выгонять — все это он не любил. У него выработан был другой метод — полного спокойствия.

— Простите,—сказал он,—я сейчас очень занят... Вы извините меня, если...

Тут он сообразил; что Лизы нет дома и не на кого сдать Клару Андреевну, и замолк, нетерпеливо поглядывая на гостью.

— Товарищ Клешнев,—заговорила Клара Андреевна, надевая пенснэ. — В наше время к людям и человеческим чувствам так не принято было относиться. Мы больше интересовались другими и поступали иначе. Мой муж, когда вы еще в пеленках были, страдал за...

Она говорила очень солидно: уж очень возмутило ее равнодушие Клешнева.

Клешнев вежливо перебил ее:

— Я знал вашего мужа. Вы знаете, что мы с вами встречались уже давно?

Клара Андреевна мгновенно забыла о своем возмущении. Улыбаясь, она качала головой. Ей вообразилось, что Клешнев может быть был в нее некогда влюблен, ухаживал — вот интересно!

— Но у меня столько было... — начала она.

— Да, встречались, — говорил Клешнев. — Вы меня выгнали из квартиры.

— Ну? — удивилась Клара Андреевна (она была уверена уже, что Клешнев ее давний поклонник. Но как долго живет ревность в этом человеке! Все-таки рабочие—настоящие, хоть и наивные люди: уж если полюбит — так навсегда). — Я очень любила своего мужа,— сказала она, — поэтому я...

— Я знаю, — снова очень вежливо и спокойно перебил ее Клешнев. — Я был с вашим мужем в одном кружке. У меня нет точных сведений, что он — провокатор, что это из-за него арестовали всех. Но странно, что он — единственный оказался неарестованным.

Пока он говорил, Клара Андреевна снова мгновенно переменилась. Она сразу же оставила мысли о давней влюбленности Клешнева, скинула пенснэ, надела, опять скинула и закричала:

— Это ложь! Я просто пошла к губернатору. Он никого не выдавал! Я ему запретила участвовать во всем этом. У него на такую жизнь никакого бы здоровья не хватило.

— Очень возможно, — согласился Клешнев. — Так, в сущности, и предполагалось. Ваш муж, почти наверное, не был провокатором, а был всего только трусом и изменником. Но это не важно сейчас. Все равно. Я после ссылки пошел к нему, а вы — вы, наверное, забыли? А я, к сожалению, до сих пор помню! — вы мне сказали: «Мой муж с хамами и каторжниками дела не имеет!»—и захлопнули передо мною дверь. Мне было тогда семнадцать лет. Я, признаться, рассчитывал тогда поесть у вашего мужа — я очень голодал. И память у меня вообще дурацкая — все помню: и плохое и хорошее.

Он говорил уже не столько для Клары Андреевны.

сколько для себя. Он испытывал сейчас прямо физическую ненависть к этой женщине. В первые месяцы работы с Борисом ему любопытно было, что сын женщины, с бранью выгнавшей его из дому, стал его секретарем. Он, прочем, относился к Борису тогда даже с некоторой осторожностью и недоверием (Борис об этом и не подозревал). Потом он привык отделять Бориса от его родных и верить ему.

Клара Андреевна притихла, суетливо застегивая пальто. В ее движениях проявилась даже некоторая расторопность. Она выскочила за дверь, быстро спустилась вниз по лестнице и остановилась, чтобы перевести дух, только у подъезда на улице. Торопливо шла по улице, приговаривая тихо:

— Как он смеет! Господи!

Юрий уже давно ждал ее перед закрытой дверью: ключ забрала с собой Клара Андреевна. Увидев мать, он сказал злобно:

— Я уже час дожидаюсь!

— Господи! — неопределенно отвечала Клара Андреевна и вынула ключ из кармана. При этом надино письмо вывалилось и, скользнув по перилам, закачалось в воздухе, планируя в пролете лестницы.

— Ох! — говорила Клара Андреевна, отворяя дверь. — Это... ах!..

Они вошли в квартиру.

Опустившись на ближайший стул, Клара Андреевна разрыдалась. Она ничего не рассказала сыну: все случившееся было слишком страшно, и, главное, тут была какая-то неясная Кларе Андреевне ее вина, основная большая вина.

Всю ночь Клара Андреевна не спала. Утром она вышла вместе с Юрием—разыскивать Бориса. Но адреса его она не добилась: она обращалась совсем не туда, куда следует. Потом спохватилась: где надино письмо? Письма не было ни в карманах пальто, ни в кофте. Клара Андреевна, прекратив поиски сына, заторопилась домой, перерыла всю квартиру, но письма не было нигде, письмо пропало.

Клара Андреевна поняла, что она потеряла письмо. Теперь даже адрес Нади ей неизвестен. Она помнила только город — Вологда. Впрочем, Вологда ли? Кажется, не Вологда, а Казань. И даже не Казань, а Сызрань? Или Нижний-Новгород?

«Дмитрию Федоровичу Жилкину», — припомнила она. — Значит, Надя не знает даже, что ее отец умер».

Юрий вернулся поздно. Угощая его печеной картошкой, Клара Андреевна говорила:

— Боря переменил адрес и даже не сообщил. Но я рада, что он ушел от Клешнева. Это такой мерзавец! И, знаешь, я рада, что в Петербурге нет этой Надьки Жилкиной. Она всегда развращала Борю...

Тут Клара Андреевна не выдержала и заплакала. Она не хотела сейчас плакать, но не могла удержать слез. Все оседало в ней; энергия, которая гоняла ее по улицам Петербурга, уходила от нее; она словно надорвалась. Это было страшно, это приближалась смерть, а Клара Андреевна ненавидела смерть больше всего на свете. Она видела с ясностью, что никогда не придется ей жить в одной квартире с детьми и женами их. Все рушилось в ней, оставляя только бессмысленную любовь



к сыновьям, желание, чтобы они жили, рожали детей и были счастливы.

— Этот Клешнев!—рыдала она.

Клешнев был для нее тем злодеем, который губил ее жизнь.

А надино письмо было выметено дворником с лестницы и вместе с остальным мусором брошено в помойку. Клара Андреевна совсем и забыла об этом письме. Ей начало даже казаться, что она передала надино письмо сыну. Энергия снова восстанавливалась в ней.

XXX

Надя прямо с вокзала направилась на квартиру отца. Она приехала из Вологды по командировке.

Клара Андреевна не узнала ее, а узнав, кто она, обрадовалась и засуетилась.

— Мне Боренька так много о вас говорил! — восклицала она, совершенно уверенная в том, что говорит правду. — Он был так тронут вашим письмом! Снимайте шубку, сейчас я вам ситный, чай...

Надя спросила:

— Он получил мое письмо?

— Как же, как же, — говорила Клара Андреевна, не слушая, о чем ее спрашивают.

И проводя Надю в комнаты:

— Он так надеялся вас увидеть. Теперь вы должны найти его. Он на-днях переменил адрес и еще не сообщил мне. Юрочки дома нет. Это—борин брат, тоже очень красивый и умный.

Она оглядела Надю и улыбнулась растроганно.

— Вы должны подарить мне девочку.

— Какую девочку? — не поняла Надя.

Клара Андреевна, надев пенснэ, заспорила:

— Ну да, девочку! А вы хотите мальчика? Напрасно. Мальчик пойдет на войну. Мальчик причинит вам массу хлопот. Если вы за ним не досмотрите, он у вас еще сифилисом заболеет. Поверьте моему опыту и рожайте девочку во что бы то ни стало. Постарайтесь, чтобы не было мальчика.

— Но я не замужем, — возразила Надя.

— Тем более, — горячилась Клара Андреевна. — Это надо решить заранее. Вы же выходите за Бореньку?

Надя покраснела и ничего не ответила. Она слегка растерялась. Впервые видела она такую странную женщину.

А Клара Андреевна продолжала:

— И вы ему скажите, что я хочу девочку. Он меня слушается и еще ни разу не было, чтобы он сделал что-нибудь без моего совета. Вы скажите ему, что я мальчика не хочу.

Она вынула из буфета хлеб, положила на стол и пошла в кухню готовить чай. За чаем Надя спросила:

— Папы нету дома?

— Да, — ответила Клара Андреевна. — То есть Жилкин умер.

Она забыла в этот момент, что говорила с дочерью Жилкина. Эта девушка была для нее прежде всего невестой сына.

Надя тихо приняла известие о смерти отца: не заплакала и ничего не сказала. А Клара Андреевна ни о чем не могла думать и говорить, кроме как о предстоящей женитьбе. Ей мучительно хотелось внучку. И она

охотно взялась бы сама как-нибудь помочь этому делу. Она боялась, что эта девушка — слишком тихая, пугливая, и у нее с Борисом ничего не выйдет.

Надя решилась, наконец, возразить:

— Мне Боря ничего не ответил. И... я не знаю, женимся ли мы. И потом — девочка или мальчик — это же от родителей не зависит.

— Как же не зависит! — возмутилась Клара Андреевна.

Она скинула пенснэ и сказала, несколько растерявшись:

— Вот вы всегда так.

Надя рада была избавиться, наконец от этой неугомонной женщины. В первый день она исполнила все дела по командировке. На второй день принялась искать Бориса. Она узнала место его службы, подстерегла его у подъезда и пошла за ним. Она не решились окликнуть его...

Ей показалось сейчас, что и командировку-то она выхлопотала только для того, чтобы увидеть Бориса, а совсем не из-за дел и уж, во всяком случае, не из-за отца. Ей вдруг страшно стало и стыдно.

Ведь Борис не ответил ей на письмо. Может быть он это нарочно? И главное: первое его движение, первое слово покажет, как он к этому письму отнесся. Она боялась вызвать его на это первое слово.

У Казанского собора она, наконец, решилась и тронула Бориса за локоть.

Борис сразу узнал Надю. Не сдержавшись, он поцеловал ее в обе щеки. Он был действительно очень рад увидеть ее. И Наде сразу же все вокруг показалось

прекрасным. Это потому, что ответ на письмо был уже ясен по этому первому движению: поцелую. Она и не подозревала того, что письмо ее давно гниет в помойке, что оно и не дошло до Бориса. Она ждала с нетерпением, когда же Борис заговорит о самом главном, о том, что она писала ему. А Борис оглядывал ее, расспрашивал, восклицал, а о письме — ни слова.

Всю себя Надя рада была бы отдать Борису. Но именно Борису и никому более. А Борис думал, что вот она — единственный человек из прошлого, который мог бы и теперь быть ему другом и товарищем.

Надя придумывала, как бы это навести Бориса на разговор о письме, но ничего не могла сообразить. Она нервничала. Спросила вдруг неизвестно для чего о смерти отца. И пока Борис рассказывал, она начала хмуриться, увядала прямо на глазах. Не потому, что ей жалко было отца, а потому, что теперь еще трудней стало заговорить о главном.

Борис решительно не мог понять, почему это Надя помрачнела вдруг, то замедляла, то ускоряла шаг, отвечала односложно, отрывисто или ничего не отвечала на его вопросы.

Разговор иссякал.

Борис, чтобы хоть как-нибудь подержать его, заговорил о прежнем, о финляндской санатории. И вдруг хлопнул себя по лбу.

— Да ведь я совсем забыл! Прости меня, Надя, и не называй меня сволочью. Я ведь твой должник!

Надя воспрянула сразу: неужели, наконец, о письме?

— Я ведь тебе должен за санаторию уйму денег! — воскликнул Борис. — Ты не помнишь, сколько?

Надя задохнулась даже: этого только не хватало! Это уж просто издевательство. Ей стало жалко себя. До слез жалко. Теперь все ясно: этот человек нарочно изобразил радость и оживление при встрече. Он нарочно хотел замолчать ее письмо. Хорошо, что она не заговорила сама об этом глупом поступке. Она поставила бы себя в самое унизительное положение и все равно ничего бы не достигла. Злоба заставила ее задать первый попавшийся вопрос, чтоб только не показать Борису своих истинных чувств:

— А ты, говорят, большевик?

— Да, — отвечал Борис.

— Значит ты, оказывается, рабочий?

Надя сама не заметила, как приняла насмешливый тон.

Борис пожал плечами.

— Нет, я не рабочий.

— Ну так, по крайней мере, крестьянин?

— И не крестьянин.

— Странно. Но во всяком случае, вождь пролетариата и герой?

— Не вождь пролетариата и не герой. Самый обыкновенный человек. Таких много.

— Это называется, кажется, деклассированный интеллигент?

— Уж, во всяком случае, я сам себя деклассировал. Каждый человек имеет право переставлять себя с одного места на другое.

— Подумаешь, какие шахматы! Скучно.

— Не злись, Надя!

— Кто тебе сказал, что я злюсь? Мне не на что злиться. Многих расстреливал?

— Нет, меня не посылали на это.

— А если бы назначили? Ты, значит, вроде как чиновник? Прикажут — все сделаешь? Или еще хуже — этакий белоручка?

— Перестань, Надя! Ты ничего не понимаешь.

— Да уж куда нам! Конечно!

Надя мучилась. Она злобно кусала губы, но не потому, что, как думал Борис, была недовольна его словами, а потому, что досадовала на свой враждебный тон. Ведь она, должно-быть, даже согласна с Борисом. Но сейчас не революция была важна ей, не политические убеждения. Ей важно было совсем другое. И неужели весь этот идеологический разговор Бориса — только для того, чтобы умолчать о ее письме?

Она боялась, что не выдержит и скажет все начистоту.

Надо скорей распрощаться и разойтись.

На углу Садовой улицы она остановилась.

— Я очень рада, что увидалась с тобой, — сказала она. — Мне сегодня вечером обратно в Вологду. Ты меня не провожай. Я скоро снова приеду — тогда зайду к тебе. До свидания!

— Но ты на меня злишься как-то?

— Да с чего ты взял? Я это просто так изобразила — нарочно.

И, чтоб кончить дело, она на прощанье поцеловала Бориса.

Потом пошла по Садовой. И думала: еще не поздно

вернуться и сказать все начистоту. Еще не поздно. Но зачем? Ответ Бориса и без того ясен.

У Инженерного замка она оглянулась в тайной надежде, что Борис сжалился, наконец, понял ее и теперь тихо следует за ней. Господи! Да разве она против его убеждений? Нет, тысячу раз нет! Совсем не в этом дело. Она станет даже его помощницей, его другом. Только бы иметь право быть всегда с ним.

Но позади не было никого.

Садовая улица была темна и пуста. Бориса нигде не было видно. Вот, должно-быть, доволен он, что так легко отделался от навязчивой девчонки!

Надя тихо двинулась дальше. Как глупо! Другие гибнут в борьбе за высокие идеи, а она — чорт знает от чего, от ерунды, от любви. И в такое время она этакого пустяка не может преодолеть.

А Борис был огорчен. Он так обрадовался Наде. И вдруг такое непонимание! Такая злоба! Такая узость!

Надя о своем свидании с Борисом сказала Кларе Андреевне кратко:

— Все благополучно. Я поеду в Вологду, разделаюсь с делами, вернусь — и мы женимся. Я вам напишу о своем приезде заранее. Вам напишу.

И в тот же день, хотя еще не достала билет, распрощалась с матерью Бориса.

И только в поезде она подумала вдруг:

«А что, если эта сумасшедшая женщина напутала, и Борис не получил письма? Может быть Борис о письме ничего не знает?»

Но тут же отогнала от себя эту мысль. Она привыкла

к своей матери, которая отличалась всегда чрезвычайной аккуратностью.

Клара Андреевна получила письмо от Нади через неделю. Увидев штемпель «Вологда» и почерк, обрадованно вскрыла конверт.

Она шумно дышала, чуть раздвинув губы и сложив их так, словно дула или выдыхала табачный дым из легких. Это было у нее признаком спокойного, хорошего настроения. Юрия не было дома.

Клара Андреевна удобно уселась у окна, надела пенснэ и стала читать. Она с такой ясностью заранее представила себе содержание письма, что не сразу поняла значение первых же строчек. Поняв, она пыталась оттолкнуть от себя их значение. Но оттолкнуть было невозможно. Смысл письма был убийственно ясен.

Вот что писала Надя:

«Милая Клара Андреевна, большое спасибо вам за ласковый прием. Мое свидание с Борисом кончилось не так, как я вам сказала. Ни вы ни он ничего больше обо мне не услышите. Прощайте».

Почерк у Нади был мелкий, но очень четкий.

Клара Андреевна дочитала надино письмо до подписи и осталась тихо сидеть на стуле. Потом встала, чтобы немедленно же исправить все это, изменить, устроить. Но как? Ведь в письме ясно сказано: «больше обо мне не услышите». Ехать в Вологду? А вдруг окажется, что Надя повесилась? А виновата в этом Клара Андреевна, потерявшая ее письмо. Нет, уж лучше забыть, вычеркнуть, истребить.

— Этот Клешнев! — пробормотала она и тихо, как убийца, пошла в столовую. Письмо она не выпускала из

пальцев. Она долго искала поднос, нашла, поставила на поднос подсвечник со свечей, взяла с буфета спички, зажгла свечу, на миг отложив письмо. Потом стала рыться в карманах кофты, ища пенснэ. Пенснэ не было.

— Этот Клешнев! — бормотала Клара Андреевна.

Ей казалось, что Клешнев виноват решительно во всем.

Шагнула к буфету, и что-то хрустнуло под ее ногой. Это она наступила на пенснэ и раздавила его: пенснэ упало, пока она искала поднос.

Клара Андреевна заплакала.

Без пенснэ, щуря глаза, она приблизила надино письмо к пламени свечи: пусть сын никогда не узнает.

Письмо вспыхнуло.

Клара Андреевна выпустила горящую бумажку из пальцев только тогда, когда огонь обжег ей кожу.

Она задула свечу и большим пальцем левой руки растерла сгоревшее письмо в пепел. Отерла палец о юбку и осталась бессмысленно сидеть перед подносом.

Клара Андреевна ни на что больше не надеялась и ничего не ждала от будущего, кроме смерти. Она видела с ясностью, что все, чем она жила, что поддерживало и создавало ее, кончилось навсегда.

XXXI

Борису было пятнадцать лет, когда он однажды подслушал разговор отца с матерью. Отец напоминал матери все то, о чем теперь, столько лет спустя, Клешнев намекал Борису. Отец упрекал мать и винил ее во всем. Это был единственный случай на памяти Бориса, когда

отец кричал на мать, а мать молчала. Борис не знал, почему возник этот разговор: может быть, без всякой особой причины.

Отец жаловался:

— Это ужасно — все время делать то, чего не хочешь, против чего протестуешь всей душой. Это не жизнь. Оттого я так и состарился, и болен, что не то делаю. Гораздо лучше, если бы я сейчас был хоть на каторге. По крайней мере я знал бы, за что и для чего.

— Ты забываешь о детях,—возразила, наконец, мать необычайно тихим голосом. — Ты работаешь для семьи. А, кроме того, я уверена, что ты приносишь пользу заводу, инженерному делу...

— Инженерному делу! — перебил отец, но мать не дала ему говорить дальше.

Она сказала с жестокостью:

— Ты знал, что я хлопочу о тебе, и даже просил, торопил меня. И я устраивала тебя на завод по твоей же просьбе. Ты тогда больше заботился о детях, чем теперь.

Отец замолк.

Тишина заменила спор. И Борису стало жутко, словно он оказался случайным свидетелем убийства. Когда он отходил от запертой двери, он услышал восклицание отца:

— Нет ничего хуже спокойной, бесцельной жизни!

Борис привык к тому, что отец во всем покорялся матери. Тем страшней и непонятней казался ему неожиданный протест отца.

Теперь, вспоминая он, соглашался с отцом.

Да. Нет ничего хуже спокойного, бесцельного существования. А жизнь кажется бесцельной тому, кто делает

дело, которого не любит, в которое не верит. И самые тяжелые испытания и даже смерть не должны быть страшны, если человек убежден в правоте того, что он делает.

Борис думал, что до сих пор он жил только по инстинкту, как зверь или ребенок. Из всего, что было вокруг, он выбирал то, что ему наиболее нравилось, казалось ему наиболее справедливым. Но ведь не один он живет так сейчас. Многие живут наощупь, наугад, доверяясь только инстинкту, иной раз в полном даже противоречии с разумом. Ведь такого положения, в которое поставлены сейчас люди, никогда не было в истории. Все аналогии с прошлым никуда не годятся и только путают дело. Все вокруг — ново. Тем интереснее жить и действовать.

Но не вечно же жить звериным чутьем! И не оставаться же вечным ребенком: всякий ребенок осужден на то, чтобы стать взрослым человеком, если он, конечно, до того не умрет...

Так думал Борис, шагая к Мойке по Кирпичному переулку. Вышел на набережную, подошел к перилам, остановился. Глядел на темные, тихие дома противоположного берега.

Борис любил Петербург, как родного человека, и всегда с жалостью и болью глядел на холодные умирающие здания, на давно незажигавшиеся фонари, на рельсы, отвыкающие от трамвайных колес, на развороченные мостовые, забывшие о грохоте, шуршаньи, цоканьи. И ему досадно было, что город этот уж не столица, что это высокое звание отобрала у него Москва. Борису показалось на миг, что этот город дороже ему всего на

свете, что он ни на что не променяет все эти Кирочные улицы, Шлиссельбургские проспекты, линии Васильевского острова, словно это они родили его, а не мать с отцом.

Еще думал Борис о том, что ему, может быть, очень скоро предстоит смерть.

Ведь из его сверстников мало кто уцелел: погибли в войне, расстреляны, давно превратились в прах и забыты. А он жив еще.

Ему припомнились выпускные экзамены в январе пятнадцатого года.

Экзамен по русской словесности. Очередь Бориса. Борис стоит у стола. За столом — директор гимназии, классный наставник, учитель словесности, ассистент.

Учитель говорит:

— Назовите мне какой-нибудь перевод Жуковского из Шиллера.

Вопрос — легкий: гимназистам, желавшим итти добровольцами на войну, вопросы на экзаменах задавались самые легкие. Но у Бориса в голове пусто. Он вдруг все забыл.

Учитель удивлен: Борис всегда имел не меньше четверки по русской словесности.

— Ну, пьеса, — старается выручить директор, — Орл... Орле...

Борис молчит.

— Орлеанская...

Борис и тут ничего не может вспомнить.

— . . .дева, — доканчивает директор.

И даже слова «Орлеанская дева» ничего не напоминают Борису.

Полное отупение. С Юрием этого никогда бы не случилось.

Борису поставили все-таки четыре с минусом. Только возвращаясь домой, он сообразил, о чем его спрашивали, он мог бы даже произнести теперь наизусть монолог Жанны д'Арк.

Это было пять лет тому назад.

Смешно вспомнить.

А что будет еще через пять лет — в 1925 году?

И, как это всегда случалось с Борисом, когда он думал о будущем, все вокруг показалось ему значительным, интересным и полным движения.

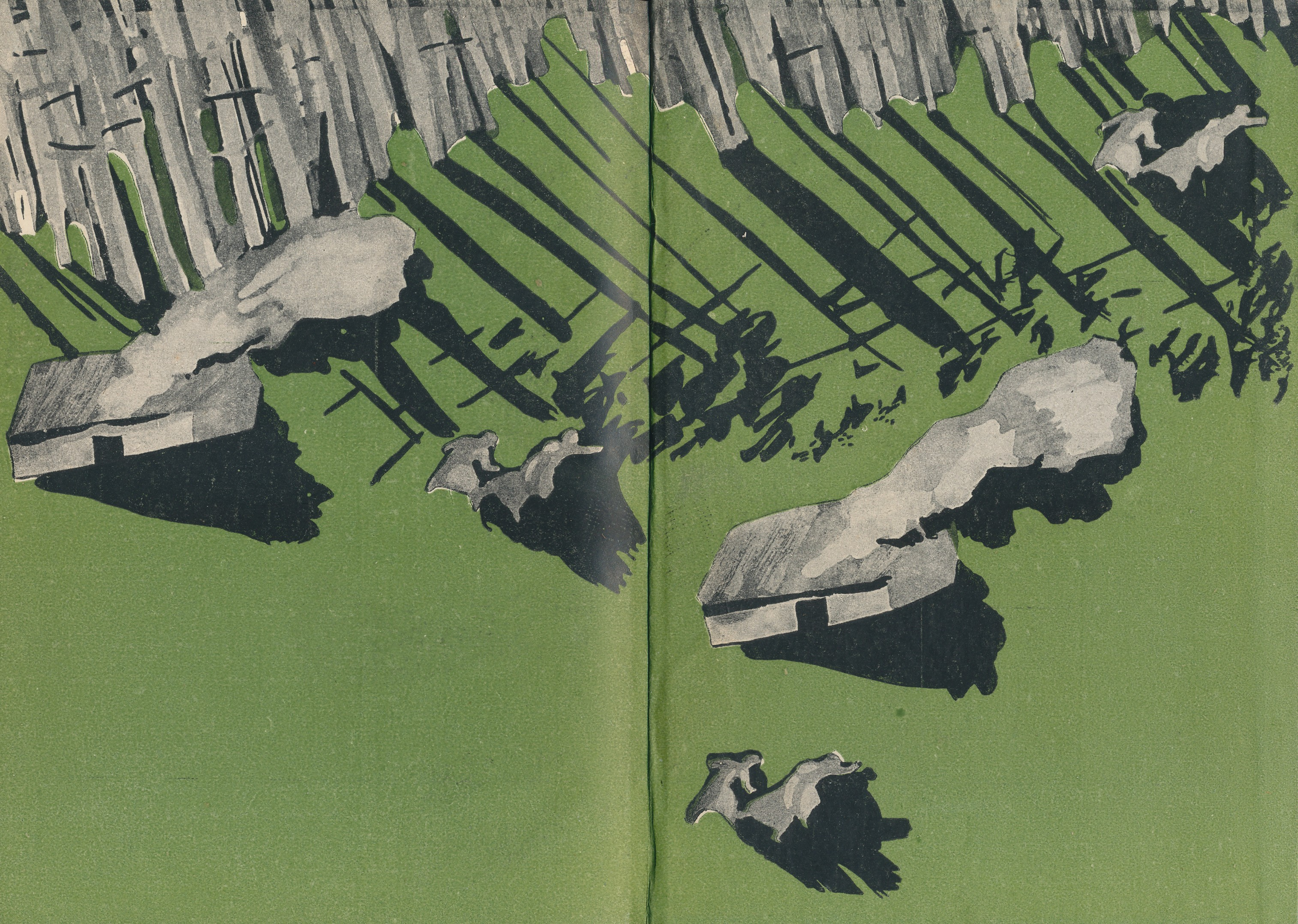
Борис думал: он—пять лет тому назад и он теперь— два совсем разных человека. И теперешний только как о полузабытом друге вспоминает о прежнем Борисе. Но, может быть, не так уж велика разница между теперешним и прежним Борисом? Борис уверен был, что разница — громадная.

1926.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Ответственный редактор Л. Шмидт.
Техредактор Н. Греймер
Уполномоченный Главлита № В—28169.
Тираж 5200 экз. Фосп. № 76/125.
Сдано в производство 14/VII—32 г.
Подписано к печати 5/X — 32 г.
Колич. лист. 15. Бумага 82×110 1/32
Тип. газ. „Правда", ул. им. Горького, 48.
Заказ № 1732





Цена 5 р. 25 к.
Переплет 1 р. 50 к.

СКЛАД ИЗДАНИЙ
ЛИТХУДСЕКТОР КОГИЗ
Москва, 6, 1-й Колобовский пер.,
дом № 12

МИХ. СЛОНИМСКИЙ — ЛАВРОВЫ



ФЕДЕРАЦИЯ 1932